



Михаил Александрович Калашников родился в 1985 году в селе Белогорье Подгоренского района Воронежской области. Окончил исторический факультет Воронежского государственного педагогического университета. Публиковался в журналах «Подъём», «Звонница», «Сибирские огни», других региональных периодических изданиях. Автор трех книг прозы. Лауреат Исаевской премии (2020 г.), премии «Кольцовский край», дипломант фестиваля «Во славу Бориса и Глеба», участник Российского совещания молодых литераторов (Воронеж, 2019). Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Михаил Калашников

ДОЛГИЕ ДОРОГИ

*Из романа
«Красное горе Белых гор».
Часть вторая*

ГЛАВА I

Людской поток настырно неся в вагоны, крушил задвижки теплушек, опрокидывал пролеты штaketника у путевых обходчиков и расплывался прочь от обглоданных прифронтовых равнин вглубь беспокойной страны. От солдатской ругани гнулась к земле жухлая трава, коржились, увядая, цветы на подоконниках и отлетали обои в доме начальника станции. Треск, топот, гомон и рев. Щуплый солдат глядел на тучи пепельно-серой саранчи у теплушек:

— Сколь его, человека, не переводи, а он никак не иссякнет. Уж за войну побило-то... Их ровно и не убавилось. У, стая дремучая!

Солдат штурмовал вагоны с такой настойчивостью, как никогда не штурмовал вражьи позиции. Хлопанье станционных двустворчатых дверей, нескончаемо длинный паровозный свисток. Не слышно мата из глотки машиниста, видна только его шея с надувшимися жилами и красные от бессонницы глаза:

— Откинсь!.. Освободи путь!.. Дай уехать, кура!..

Серый поток не свернуть даже раскаленным паровозом. Рельсы не видно за шинельной завесой. Счастливицы, что с бою взяли вагоны, вкатили на крышу пулемет, резанули над толпой. Шорхнули пули по жестяной крыше вокзала, звякнуло окошко, толпа чуть схлынула, паровоз вклинился в людскую улицу. Она нехотя расступалась, но тут же снова стала напирать. Ей отвечали матом и прикладами. Двое солдат кое-как уцепилась за поручни. Одного сразу сбросили оземь, над вторым непонятно почему сжалились, ухватили за рукава, втащили в вагон. К уплывавшей остервенелой толпе обернул тот свое счастливое лицо: «Я теперь не ваш, я теперь ихний! Пассажирский, домашний, вольный!»

Ушел состав, и опять все, кто не уехал, обрушились на станционное руководство. Снова подняли больного начальника с койки, отшвырнули жену, сдернули с его глаз примочки.

— Где паровозы, сволота?! Запрашивай через телеграф. Скажи: угрожают расстрелом! Всю семью, скажи, уокошат!

Начальник станции опять на дрожащих ногах поволокся в будку телеграфиста. Вчера у него еще хватало воли отвечать напиравшей толпе, требовавшей кормежки, что вот, дескать, склады земские пусты и нет ничего. После короткого избияния быстро сдался, в отчаянии махнул рукой:

— Ааа! Кому это теперь все нужно? Во имя чего хранить? — И бросил под ноги своих мучителей массивный ключ от склада.

Пакгауз разнесли в полчаса. Под подошвами сапог на перроне сыто хрустели просыпаные гречка, сахар и чай. Столовую при станции тоже опрокинули и вывернули наизнанку.

Огромное тело непобежденной, но разъеденной и прогнившей армии медленно уползало в тыл. Все, что свозилось к фронту в течение долгих трех лет, теперь стремилось убраться отсюда как можно быстрее. Никто не желал ждать ни секунды, да никто и не ждал. На фронте от Балтики до Черного моря брал верх стихийный самороспуск. Демобилизация не была объявлена, но и внятного документа, по которому солдата можно было задержать в окопах, тоже не оказалось. Перемирие заключили через голову Главкомандующего сами же солдаты и их комитеты. Когда Главковерх попытался сделать вид, что он еще чего-то да значит и стал противиться столичным декретам, на его место быстро прислали мобильный отряд балтийских матросов с новым Главковерхом, а старого арестовали и попытались сопроводить в Петроград. Но получилось это вяло, и бывшего командующего выбросили из вагона на частокол солдатских штыков. С того момента «увести на допрос к генералу Духонину» означало — в расход.

По стране кочевали армии новых самопровозглашенных республик. От берегов Балтики и из Полесских болот к черноморским берегам и волынским полям устремились эшелоны набранных среди малороссов солдат. Они ехали к себе, на вновь обретенную родину — Украину. Нарождалась амбициозная армия Украинской Народной Республики.

Эшелоны большевиков мчались к фронту — принимать дела, войска, склады, парки автомобилей и лошадей, остатки пока еще не разграбленного имущества. Армии других национальных окраин собирались здесь же, в пути, на колесах, обвешивали вагоны никогда не виденными флагами Грузинской державы или Донского казачьего войска, объявляли оружие и поезда своей собственностью, обособливались от всего на свете. Все это наталкивалось друг на друга, иногда вступало в перестрелку, спорило и ссорилось за право проехать первым, за воду и уголь, закупоривало движение, усугубляя транспортный кризис. Из распахнутых дверей неслось на ходу:

Под одной рукой мешок,
Под другою бочка,
Подсажу в вагон, красавица,
За жаркую ночь.

Армия разбежалась. Если к октябрю окопы обезлюдели лишь на четверть, то после перемирия в них задержалась только третья часть солдатского населения. Оставались единицы. Фанатики, любившие войну; редкие офицеры — невольники чести, готовые держать фронт хоть в одиночку, хоть за солдатский паек; бездельники и проходимцы, которым возврат на родину не сулил ничего хорошего, и им проще было затеряться средь фронтовой суеты; идеалисты и просто хозяйственные солдаты, которые не могли оставить свою «Марусю» или «Глашу», как они успели любовно окрестить свои орудия, в добычу немцу.

Костяками для этих армейских остатков служили национальные армии. На севере это были латыши. Как и в начале войны, они шли в окопы добровольно, от немецкой оккупации ничего хорошего не ждали и готовы были стоять насмерть, даже если бы последний русский солдат оставил их один на один с кайзером. Юго-Западный фронт держался на чехословацких легионах, югославянской и польской бригадах. В них были бывшие австрийские подданные: чехи, сербы, словаки и хорваты с поляками, им никогда не простили бы предательства и перехода на сторону врага. Отступать вглубь России, как большинство русских мужиков, они не могли, родина была у них по ту сторону фронта, и оставлять его они не собирались. От Карпат до дельты Дуная фронт держался на двух румынских армиях, пропагандой пораженчества не задетых.

Петр Хвостов следил за дымом уходившего паровоза. Черная угольная копоть напитывала небо угрюмой пеленой. Низкие позднелесенные тучи грузно давили на крышу вокзала и смушковую папаху бывшего прапорщика. Виктория торопливо бинтовала его сочившие кровью пальцы.

— Вон он! Вон эта сука офицерская! Вишь, и кулак у него кровит, об голову мою сбитый, — в толпе метался бородатый солдат, трепал соседа за полу шинели, указывал на Петра.

Хвостов узнал солдата. Минуту назад он и вправду приложился к его голове, когда Петр пытался впахнуть Викторию в переполненный вагон и услышал сверху: «Тут хоть бы самому убраться, а офицерье еще баб с фронта прут». Петр разглядел сказавшего, прыжком достал его и выдернул из проема вагонных дверей. Осащенный солдат стал нервно сдирать через голову ремень винтовки. Петр хотел схватить его за горло, но получил прикладом по пальцам и отдернул руку. Его закружило в солдатском водовороте, унесло выдернутого им из вагона невезучего солдата — прапорщик потерял опору и опрокинулся.

Вагоны вдруг лягнули буферами, сквозь гвалт Петр различил пронзительный крик жены, попытался встать, но вторую его ладонь расплющил солдатский каблук. Кто-то растянулся через Петра, кто-то на ходу больно угодил носком сапога между ребер. Серошинельный водоворот унесло вслед за поездом, уныло шагали мимо отдельные мытари. Прибежала Виктория, успевшая спрыгнуть на ходу, опустилась на перрон рядом с ним, бережно взялась за разбитую ладонь, хотела поднести к губам, но он вырвался из ее рук, тогда она полезла в саквояж за бинтом.

Выдернутый из вагона солдат грозил издали и все тащил за собой соседа за шинель. Уже собиралась толпа, жадная до расправы, не знавшая, куда деть досаду от ушедшего без них эшелона. Петр встал с колен, вытянул вперед руки с посинелыми ногтями и недомотанными охвостьями бинтов:

— Держите! Казните! Если полегчает...

Виктория бинтовала его руки, Петр шептал:

— Их ничего не связывает... Теперь здесь каждый за себя. Бедный, разбитый народ.

Перрон заметно опустел. Прошел слух, что скоро будет новый поезд, и толпа рванула за пределы вокзала, по шпалам укатилась в поле — встречать фантомный эшелон. Петр забинтованными руками вырвал у жены свой чемодан, понес его на вытянутых руках, ей оставил только саквояж.

— Пойдем, поищем гостиницу или жилье. Ждать здесь — бесполезно, — сказал он.

Виктория послушно засемила рядом. Суетливо пробежали люди, звякая на ходу оружием и амуницией, набитыми в вещмешки консервами и выхваченным из частных дворов барахлом вроде столовой терки или фарфоровым бочонком для соленых грибов.

На невысоких вокзальных ступенях выступал агитатор:

— Громадяни! Хто з вас українець? Ми всіх закликаємо до служби. Молода Українська республіка потребує захисників. Йде набір в державну армію і в варту. Всіх, хто цікавиться, просимо підходити до нашого штабу. Він розміщується по вулиці Вокзальної, між храмом Дмитра Солунського і синагогою¹.

В толпе солдат говорили:

— Ты по-хохлячьи умеешь?

— Да ну их к черту... Небось паек худой и деньги ихние ничего не стоят. Да и домой надо, а то землицы не останетсья, всю разгребут.

— А я б записалсья. Украина богатая, тут не заголодаешь. А язык и выучить недолго: пиво — пыво, хлеб — хлиб.

Чуть дальше, у железного носа паровозной водокачки, другой голос:

— Молодой Республике Советов необходима твердая пограничная стража! Мы призываем всех сознательных, неравнодушных бойцов оставаться на фронте, прекратить оголтелый драп. Заслоним грудью границу кровотокащей родины.

Оратора мигом подняли на смех:

— Так вы ж нам вчера говорили: «Айда по домам, ребята!» Хватились!..

— Другой исторический момент настал. Вчера вы были солдаты царской империалистической армии, хищной злодейки. Сегодня же мы призываем вступить вас в революционную пограничную стражу. С границами, конечно, вскоре будет покончено, а пока нам надо охранить нашу молодую республику от иностранных врагов и империалистов. Пока весь мир не встал на путь революционной борьбы...

Речь оратора покрыл новый взрыв наглого хохота.

Петр и Виктория обогнули вокзал, вышли к тупиковым путям. Здесь тоже толпились люди. Внутри одинокого холодного вагона, застрявшего в отстойнике, обитала офицерская компания. Даже в эти смутные времена разговоры здесь царили все те же:

— Германия труп. И добрую половину гвоздей в крышку гроба этого трупа вогнала именно наша армия. Но право последнего золотого гвоздя достанется, увы, не нам.

— История повторяется. Как и при Елизавете Петровне, прусский трон спасла русская трагедия. Победа была у нас в кармане, и тут, как сто пятьдесят лет назад, нас подвела смерть. В тот раз смерть императрицы, в этот — смерть империи.

¹ Граждане! Кто из вас украинец? Мы всех призываем на службу. Молодая Украинская республика нуждается в защитниках. Идет набор в государственную армию и в полицию. Всех, кто интересуется, просим подходить к нашему штабу. Он находится на улице Вокзальной, между храмом Дмитрия Солунского и синагогой (укр.)

— Они кричат: «Мир — хижинам! Война — дворцам!», но хижины пока что страдают гораздо чаще дворцов. Посмотрите, во что превратили дома стационарных служащих.

— Потерпи, скоро запыхают и дворцы. Хижины им вроде аперитива, чтоб разжечь аппетит.

Петр хотел подойти к ним, представиться и дожидаться любезного предложения о помощи, как это было в сентябре, на вокзале в Киеве, когда они с Викторией после отпуска возвращались на фронт и не могли пробиться в заваленные солдатами вагоны. Но он замялся, примостившись к ремонтной колесной паре, опустил чемодан, попытался достать портсигар. Виктория полезла в карман его бекеши, помогла справиться. Он сделал затяжку, нервным выдохом освободился от дыма.

В осенней мутной луже шла борьба: две вороны добивали клювами ослабевшего и больного, полумертвого голубя. Уже объеден был его хвост с задними лапами, а он все пытался удрать от своих палачей, хлопал по луже намокшими крыльями, едва шевелясь. Вороны без труда нагоняли его, отрывали от спины розовое мясо. Петр отвернулся, не дождавшись момента гибели птицы.

— С одного боку большевики, с другого — немцы. Куда тут вывернешься? — снова заговорили в офицерском кругу.

— Говорят, Корнилов бежал из Быхова, текинцы помогли, выручили. На Дон бежал, к Каледину.

— И нам туда дорога.

Петр глубоко затянулся, на выдохе проговорил:

— Надо переждать отлив. Поселимся где-нибудь на хуторе, подальше от суеты, дороги и этого бедлама.

Вика одобрительно кивала, дула в свои заиндевевшие пальцы, притоптывала на месте, хотела немедленно двигаться, куда звал ее муж. Он, когда вновь услышал о Корнилове, не смотрел на свои руки, ведь знал: будь они целы, он все равно прошел бы мимо всего этого. Ему хотелось увидеть, что есть другая жизнь, тихая, не сошедшая с ума.

Но везде, где были железные дороги, на север и на юг — и даже вглубь страны до самой Волги — катился вал демобилизации.

ГЛАВА II

В Брест-Литовск, где германское командование управляло всем Восточным фронтом, в конце ноября прибыла мирная делегация нового советского правительства, коему не было и месяца от рождения. Под главенством Адольфа Иоффе собрались ни много ни мало двадцать восемь человек. Встречающая сторона была удивлена пестрым составом уполномоченных Всероссийского Комитета, среди которых были символы опоры новой власти: матрос, солдат, крестьянин, московский рабочий и даже — о ужас для консервативной, не привыкшей к таким фокусам Европы! — женщина. За столом переговоров не смогли скрыть возмущения уровнем российской демократии: «Ist das auch ein Delegat?»²

Центральные державы, с которыми три года велась борьба, представляли генерал Гофман, подполковник Херман Покорни (явно имевший славянские корни в своем происхождении и недурно владевший русским языком), турецкий генерал Зеки-паша и от Болгарии полковник Петр Ганчев.

Делегация Совета Народных Комиссаров призывала и остальные стороны конфликта прибыть на переговоры. Для этого давались открытые и частые интервью

² И это тоже делегат? (нем.)

всем без разбора изданиям: немецким, союзным, нейтральным. Но Антанта заключать перемирие не торопилась, а потому и в Брест-Литовск не ехала. Иоффе сразу обозначил условия: мир будет подписан только без аннексий и контрибуций, то есть с чем начали войну, с тем и закончим, простив друг другу миллионные жертвы, восстановим границы, начнем жить по-новому.

Однако немцы главе миссии ВЦИКа дали понять, что три территории бывшей Российской империи, а именно Польша, Литва и Курляндия, аннексиями не считаются, поскольку уже объявили о своей независимости, а то, что их в данный момент оккупирует Германия, ну так это все временно: кончится война, и войска кайзера с этих земель уйдут. Ошарашенный Иоффе в ответ пригрозил прервать переговоры и убраться обратно в Петроград. Этот шаг сильно повлиял на австрийскую сторону, и дипломат Отокар Чернин даже пригрозил Гофману заключить с советской делегацией сепаратный, то есть индивидуальный мир, если германская ставка не откажется от своих грабительских требований.

Немцы с досадой скрипели зубами. Они видели, как сознательно затягивают переговоры русские, они видели, что в Вене и Будапеште набирают силу протесты и забастовки, ведь благодаря прозрачности переговоров, которую обеспечивала пресса нейтральных держав, советская сторона стояла на выгодных условиях: дескать, мы приехали заключать мир, но правительства Германии и Австро-Венгрии нам всячески мешают в этом. Кроме того, немцев раздражала открытая агитация большевиков. Среди солдат имперской армии тысячами тиражами гуляла революционная литература и фламан пропаганды — немецкоязычный «Die Fackel». 6 декабря «Известия ЦИК» опубликовали обращение Советского правительства «К трудящимся, угнетенным и обескровленным народам Европы». Немцы видели, что сотворила революция с армией русских, и зеркального отражения со своей армией, конечно же, не желали. Гофман резко попросил запретить подстрекательство, ему ответили: ведите ответную пропаганду среди русских солдат, кто вам мешает?

Миссия ВЦИК удалилась в Петроград для консультаций с центром, а на втором заседании дипломатов советской делегации было объявлено, что украинская Центральная Рада направила в Брест-Литовск свою собственную делегацию. Рада не готова признать какой-то там мирный договор, который затрагивает ее судьбу, но заключается без участия самой Рады.

На Украине после Октябрьского переворота тоже не молчали: не такие москали умные, чтоб думать, будто им можно жизнь на лучший манер поворачивать, а нам в «ридной Крайини» нельзя. Рада осудила восстание в Петрограде, не признала власти Совнаркома и заявила о намерении «упорно бороться со всеми попытками поддержки большевистского восстания на Украине». Вскоре был принят Третий Универсал, а в нем провозглашалось создание Украинской Народной республики, пока еще не независимой, пока еще — в федеративной связи с Российской республикой. Но границы УНР сразу свои обозначила, ссылаясь на территории, где большинство населения составляют украинцы: Киевская, Волынская, Подольская, Херсонская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Екатеринославская губернии и уезды Северной Таврии без Крыма. Правда, устроители нового государства забыли упомянуть, что центры этих губерний, а именно города Харьков, Киев, Екатеринослав и Херсон на восемьдесят-девяносто процентов состояли из русскоязычного рабочего класса, да кто в период застройки национального флага думает о таких мелочах?

На исходе ноября генеральный секретарь по военным делам Симон Петлюра известил по прямому проводу вновь испеченного Главковерха прапорщика Крыленко о выводе войск Юго-Западного и Румынского фронтов из-под управления

революционной Ставки в Могилеве и объединении их в самостоятельный Украинский фронт. То, что национальный состав этих двух переподчиненных фронтов был лишь на четверть украинским, тоже мало кого заботило, главное ведь объявить первым, поставить табличку, выпустить декрет, огородить столбиками, а там, глядишь, и свыкнется-слюбится.

* * *

Четвертый день не могли стронуться с этой узловой станции. Паровоз отцепили от эшелона, угнали в лабиринт рельсов и ремонтных депо, где он и затерялся. На второй день стоянки пришли хохлы в синих жупанах и серых папахах с длинными шлыками, заявили, что дадут паровоз и пропустят дальше, если солдаты из эшелона все как один разоружатся. Украина набирает собственное войско, и его надо вооружать, нехай москали поделятся. Личные вещи сине-жупанники обещали не трогать. Солдаты совещались недолго, быстро скинули из вагонов громоздкие винтовки, выкатили по сходням пулеметы. Только револьверы и прочая мелочь затаилась по солдатским карманам. Были еще вятичи. Все одноликие, русобородые, похожие, как братья. Таких не тронь! Они сохранили стойкое землячество: гуртом штурмовали вагоны при посадке, ехали особняком, ни с кем не дружили, не делились, хохлам дали от ворот поворот — оружие при нас, хотите брать силой — спробуйте. Дни тянулись, хохлы выжидали, когда у вятичей иссякнут продукты и они сдадутся.

Иван Гребеников часто уходил в город на митинги, сборища, подолгу пропал из вагона. Дмитрий Безрученко сидел на двух мешках добра, наменанного еще на фронте около Сморгони, охранял. В его вещах были немецкие зажигалки, перочинные ножи, пара часов, бритвы в картонных футлярах, коробки с папиросами и царский подарок для невесты — женские полусапожки на высоком каблучке, со шнуровкой и скрипом. Все это он «выменял» у немцев на царские деньги из полковой казны, разделенные поровну между солдатами после армейского самороспуска. Немцы с удовольствием принимали николаевки, от керенок отказывались. Хлопая стопками царских купюр о ладонь, шутили:

— Этот теньга у нас прафительство опменяйт по курсу на марки и расплатиться ими с польшефики за революции. Мы толжны фаш Ленин милльен руплей.

Еще добавляли с грустинкой:

— Ты, рюс, щастлиф — томой егешь, а нас посилайт на француз фронт. Нам еще погипайт.

Иванов мешок хранил в основном продукты: бумажные кульки крупы, чая, мыла и сахара. Все дно было устлано жестяными цилиндрами консервов. Когда вскрыли консервный склад, рядом уже крутились немцы. Банки были чудные, будто слепленные из двух наложенных друг на друга цилиндров. Один солдат, знакомый с их устройством, провернул нижний цилиндр, в нем что-то щелкнуло и зашипело. Предусмотрительные немцы как один бросились на землю, позакрывав руками головы:

— Гранатен!

«Рус Иван» покатился от злорадного хохота:

— Немчура необразованная — это ж тушенка с подогревом. Там в нижней банке щелок и вода смешаны, вот она и шипит, гадюка.

Он вскрыл банку и протянул немцам тушеную свинину с расплавленным жиром, от которой валил пар.

— Понял, брат, и костра не надо. А еще Европой зоветесь...

Немцы пробовали консервы, одобрительно кивали, в душе не понимая, как они смогли победить такую страну.

Граждане-солдаты обновленной страны беспрепятственно покидали насиженные за три года окопы. Новый Главковерх официально дал распоряжение: увеличить число отпускных солдат до десяти человек на сотню личного состава. В полках и ротах только рассмеялись: еще до грянувшего Октября офицеры отпускали до 20 человек на сотню, а уж теперь, когда перемирие...

Вся масса разделилась на две части, объявив себя «ноябристами» и «декабристами». Первые решили еще в этом месяце покинуть фронт, вторые намеревались разъехаться по домам на Рождество.

Уходили без всяких отпускных бумажек. Дмитрий сам видел: на вокзале возле свежего труп озверелый солдат как куском мяса размахивал алой подкладкой, вырванной из генеральской шинели:

— Вот моя увольнительная записка! Вчистую списали, во веки веков туда не вернусь!

Товарищи бессрочно уволенного солдата выламывали руку мертвого генерала, срезали с одревеневшего пальца обручальное кольцо.

Дмитрию с Иваном, как и большинству их полка, повезло. К Сморгони пришел пустой состав, и места хватило всем. Но потом на каждой станции солдат все прибывало: скоро стало ясно, что всех пускать не стоит. Тогда пошли на уловку: приоткрывали двери в теплушке и толпились у входа, изображая тесноту. Вагоны все равно штурмовались, ревела ругань, толкотня, но посторонних не пускали. Здоровенный свирепый матрос, обещанный ручными бомбами, патронташами и лентами, крикнул толпе, его окружавшей:

— Разойдись маленько! Пошлю подарок сволочам, прочищу нам дорожку! — и оторвал ручную гранату от пояса.

Толпа брызнула по перрону, вокруг матроса зияла пустота. В дверях теплушки тоже стало пусто, все кинулись внутрь. Один смельчак бросился к ручке, налег на дверь и опрокинул затвор-щеколду.

— Закрой люки! — обернул он к попутчикам побледневшее лицо.

Все стали загораживать шапками вентиляционные решетки и клапаны в крыше. Снаружи грохнуло несколько выстрелов, от стен полетела щепка. На радость всех, состав дернулся, вагоны медленно поволокло прочь от сбесившегося матроса и палившего по теплушке народа.

Пока ехали вглубь Украины, на остановках демобилизованные отправлялись по соседним деревням, скупали яйца, масло, творог, жареных кур и гусей, сало.

Дмитрий в который раз проверил мешки, крепость стянутых узлов. Упершись плечом в дверной проем вагона, он закурил, не спуская глаз с мешков. На наружной дощатой стенке теплушки из-под тонкого слоя краски скалились клювы не страшные, почти исчезнувшие двуглавые орлы. Замазали их квелом, еще проступали силуэты сквозь белые мутные разводы.

Снизу Дмитрия негромко окликнули:

— Эй, солдат, не хочешь поменяться?

Дмитрий глянул на просящего. Высокий, плотный, усы ухоженные. Такая же, как у всех, фуражка без кокарды, китель офицерский — без погон. На руке висит светлая офицерская шинель, двубортная, в петлицах пуговицы.

— Я тебе эту, а ты мне свою, — предложил незнакомец.

— Да моя-то замусоленная, и рукав я у костра прожег, — замялся Дмитрий, видя всю неравноценность.

— Так даже лучше! Давай меняться, солдат, у тебя лицо... молодое. — Он явно хотел сказать другое слово. — Тебя за офицера не примут.

Дмитрий выбросил окурочек, сплюнул, для чего-то обиделся:

— Думаешь, тебя моя шинелька уберезит? Пана и в рогоже узнаешь по роже.

— Не сердись, солдат. Смотри, какое сукно, — знал, чем пробить крестьянскую душу, незнакомец.

— Да я потону в ней, — уже теплее отозвался Дмитрий.

— Это ничего, стеганку поддеть можно, ремешком стянуть. Ну, великовата немного, — расправлял незнакомец шинель и расхваливал, как на ярмарке.

Он покрутил шинель так-сяк и жестом цыганского барышника хлопнул по сукну. Затем подбросил вещь, в надежде, что если солдат подержит ее в руках, назад уже не вернет. Дмитрий примерил шинельку; как ожидалось, была она ему не по росту, пальцы едва виднелись из длинных рукавов. Дмитрий осмотрел себя, облоpal карманы:

— А, бери... — И столкнул ногой свою лежавшую на краю вагона шинель в подставленные руки незнакомца.

Тот мигом натянул свою кургузую «обновку», торопливо поблагодарив, зашагал к вокзалу.

Дмитрий вспомнил о мешках, беспокойно обернулся. Полупустая теплушка была все так же дремотно-спокойна, никто на его скарб не покушался. От нар долетело:

— Митрий, затвори двери, и так колотун.

В железных салазках покатила дверь, щелкнув, погрузила теплушку в сумрак. На нарах потекла прерванная история:

— Я на Ходынке был, только семнадцать тогда стукнуло. Когда столпотворение началось, приперло меня к одной славной барышне. Обнял я ее и думаю: вот бы Господь так управил, чтоб моею стала. И что ты думаешь? Как раз с того момента давка пошла. Ну, думаю: Тимофей, не теряйся! Омороком ее шибануло, чую — обмякла. Чуть отклонил ее, подол закатал — и пошло!

— Да ладно брехать-то. Еще и Бога в компаньоны приплел.

— Не верьте, коль охоты нету.

В самодельной печке потрескивали дрова, пахло березовой щепой, ароматом немецких папирос и шоколадом, хрустела на нарах оберточная фольга. В соседнем вагоне всхрапнула лошадь, глухо стукнула в деревянную перегородку. На путях призывно и обнадеживающе шипел паровоз.

Дверь лягнула, поехала в сторону, в проеме появилась Иванова сияющая личность:

— Митька!..

— Да захлебень ты калитку, потом кричи! — рывкнули с нар.

Иван забрался внутрь, закрылся:

— Айда в город, земляк. Я фотографию нашел, двойной патрет сейчас с тобой сляпаем.

Дмитрий восторга не разделил:

— Сволочь ты, Ванька, я без тебя до ветру сходить не могу, с мешков не слеваю.

— Мешки с собой возьмем, — отмахнулся тот.

Дмитрий лишь покрутил головой, завидуя Ванькиной беззаботности. Потом остановился глазами на его расхристанной шинели, на осиротевшей без награды гимнастерке.

— Ты куда медаль дел?

— А-а-а... — бегло покосился Иван на свою пустую грудь и небрежно отмахнулся, — в пользу революции сдал.

— Ты чего? Это ж гордость твоя, — недоумевал Дмитрий, помня, с какой позой Иван впервые ее продемонстрировал, как при Дмитрие долго и аккуратно пришивал георгиевскую ленточку между четвертой и пятой пуговицами на груди гимнастерки.

Медаль Ивану вручили за летнее наступление. Хоть ничем хорошим оно не кончилось, однако орденская норма пришла из столицы на полк, командиры награды раздали — не обратно же возвращать.

— Да баловство это все, — опять отмахнулся Ванька, — мужики вон кресты снимали, а что ж мне, медальки жалко?

— Егорьевские кресты, что ль?

— Ну не нательные ж.

Они зашагали вдоль омертвелых эшелонных колонн — целый город на вагонных осях. Костры, медные чайники, заварка пригоршнями. Гармошка, частушка, смех. По домам едем, братцы! Наплявать... что без победы...

Неслась разудалая песня времен Великого отступления, сложенная на манер плясовой:

Меня били, колотили
В огороде, во кустах.
Проломили мою голову
В семнадцати местах.

Меня били, колотили
Коло Бзуры, на Двине,
Коло Сана, коло Яна
Кудреватую головку
Проломили всю во мне.

Меня били, колотили
И все гнали без конца,
А народы все сказали:
«Так и надо подлеца».

Где-то справляли свадьбу, гремело «горько!» на весь вагон, пили, гуляли, наяривал даже еврейский оркестр, привезенный из города. Из иных теплушек неслся младенческий плач, висели на самодельных распорках, устроенных из штыков, гирлянды стираных пеленок.

Из соседнего вагона донеслось:

— Ну что, дуванцы, скоро домой?

Иван с Дмитрием разом обернулись, их окликал прапорщик Шашкин — почти земляк (из соседней задонской слободы), бывший учитель и, по слухам, крепкий большевик.

— Шут его знает, Михал Федорыч, — откликнулся Иван, — а то это «скоро» в еще один фронт выльется.

— Так не зевай, толкуй хохлу, что ты такой же хлебороб, как и он, что и тебя дома земелька ждет.

— Растолкуем, небось и для них мы как бельмо на глазу, — проговорил Дмитрий.

На вокзальной площади шумели, карабкались на воз с сеном, вещали с вершины золотого холма:

— Что, братцы, по домам?

— По домам! Война сдохла, хай ей черт!

— Война-то сдохла, да немец не сдох. Согласны ему Киев отдать?

— Согласны!

— А Смоленск?

— Согласны!

— И Москву хай забирает?

— Хай забирает, на черта она нам сдалась!

— Так, может, хоть один дом оставим?

— Оставим!

— А какой нам дом себе оставить?

Над площадью тишина.

— Оставим, братцы, дом умалишенных, чтоб упрятать там таких дураков вроде вас. Хоть слушайте, что вам говорят! Киваете, как телки в стойле.

Половина площади загоготала, половина стала засыпать оратора и золотую гору под ним проклятиями.

Сквозь прозрачную решетку вокзальной ограды тянулись наравне с Иваном и Дмитрием поезда. Из вагонов и теплушек выскакивали солдаты, рядами строились вдоль решетки, журчали по ней, до срока вгоняя во ржавь. Молчком прыгнула на землю баба в солдатских сапогах и шинели на голое тело, чуть отбежала от вагона, задрав шинельные полы, присела по нужде.

— Безбилетная, небось, едет, — оскалился Иван.

— Ничего, она им отплатит, — следом ухмыльнулся Дмитрий.

Под деревом сидел седобородый старик, простелив на пустом ящике холстину, мелко резал сало. Глянув на их лица, понимающе кивнул:

— Что, ребята, с фронту нахватамшись?

Дмитрий бросил на него ожесточенный взгляд, потом почувствовал, как запылали кончики его ушей, отвернулся, надбавил шаг. Ванька изредка оборачивался, поглядывал на белый бабий зад. Дмитрий думал: «До службы во мне этой грязи не было».

ГЛАВА III

Окна Белогорского монастыря сек декабрьский дождь вперемежку со снегом. Причем шли они не одновременно, а чередуясь. То по стеклам ртутными каплями сползала живая вода, то лепилась тающая снежная каша. Дорожки в монастырском дворе зияли незаживающей расквашенной грязью, лишь на побитую морозами траву снег ложился недолгим покровом и тут же снова сминался налетевшим дождем.

Престарелый летописец Мелетий подул на заиндевевшие пальцы: в монастырском хозяйстве всю войну шла дикая экономия, и печи топились вполнакала, а уж теперь... Он снова поглядел на улицу. Под унылым дождем гнулся молоденький грецкий орех. Бедняга, как ему тяжело в наших краях. Мелетий вспомнил, как после первого октябрьского мороза на орехе к утру не осталось и листочка, будто ночью кто рубанул по нему палкой и весь он опал, стоял зябкий и исхудавший. У подножья ореха лежал старый мельничный жернов с ржавой железной полосой по узкому краю. Его по совету монаха Афинодора уложили как гнет, чтоб не вырывались из земли корни, а лезли вглубь, где их укроет почва от морозов и ледяных дождей. Жернов этот, по словам старожил, принес с собой много лет назад один богомолец, наложивший на себя обет двигаться повсюду с тяжелой ношей, олицетворявшей его грехи. Придя в пещеры, он спустился в келью к молчальнику Иакову и, выйдя из нее, отковал цепь от своей ноги, бросил тут жернов посреди монастырского подворья, ушел налегке. Что сказал тогда богомольцу Иаков и сказал ли вообще? Ведь неспроста звали его «молчальником». Должно быть, крепок был этот богомолец: двое послушников с трудом ворочали жернов, укрывая им корни ореха. В старину народ был крепче, оттого и революций не случилось.

За шелестом дождя стучал поршнем дизельный насос, накачивая в бассейн воду из колодца. Керосин на исходе, и надо экономить еще для механической мельницы. Летописец убавил огня в лампе, склонился над бумагой. Год шел к концу, по старой традиции следовало подбивать итоги, но рука не слушалась хозяина, все не могла начать заглавную букву. Монах перелистнул страницу назад. Открылся титульный лист текущего года, оформленный вензелями красивого почерка:

Потом шли победные стихи, выписанные из популярного журнала:

Часом полночи рожденный, Витязь юный к нам пришел.
 А забытый, огорченный старый грозный год ушел.
 — «С Новым Годом!» — крикнул Витязь. — «Под ударами судьбы
 Вы тесней, тесней сомкнитесь для победы и борьбы!»
 — «С Новым счастьем!» — крикнул юный. — Опясан я мечом,
 Но принес подарок чудный — ветви мира за плечом».
 И по Родине любимой бодрых кличей Новый год
 И лавина за лавиной рати движутся в поход.

В старых глазах монаха строчки поплыли, заволоклись горькой влагой: «Отец Небесный, неужели и вправду были мы на пороге этих чаяний? Неужели начинался так радужно этот год? Кажется, долго уже прибываем мы в смуте, а еще и год не иссяк».

Монах порывисто, мелкими толчками выдохнул, под конец закашлялся, набрал воздуха в кольнувшую грудь и опять долго не мог унять растревоженных сотрясений в горле. Перелистнул страницу, взгляделся в собственный почерк:

Вот начался круг года с Января, все та ж вечерняя и утренняя заря!
 Все те же дни и тот же светит свет! И нового под солнцем нет?!
 Проходит время быстротечно, сменяется за годом год,
 А мы живем в грехах безопасно и вовсе не глядим вперед.
 Среди пороков и разврата как камень сделались сердца;
 Идет войною брат на брата, а сын готов предать отца.
 Сегодня год начался новый: да вразумит же нас Христос,
 Чтоб, сбросив гнет греха суровый, всяк плод к спасению прирос!..

И тут мешалась правда с кривдой. Мелетий писал о войне брата с братом, но не думал о братьях одной империи, не пытался напророчить гражданской смуты, а говорил о братьях во Христе, о французах и поляках, о русских и немцах. Вышло же теперь, что слова о бранных братьях и о сыновнем предательстве выстроились в иную картинку.

В псалме речь шла о приращении новых душ к плоду спасения, но ситуация за окном кельи с псалмом не соглашалась: никто не хотел думать о спасении небесном, все хотели спастись и пожить в этом земном мире.

Мелетий долго не заполнял монастырский манускрипт, но поздней весной минувшего года снова отрыл его. В тот день, он помнил четко, с фронта пришел иеромонах Афинодор, и речь летописца шла уже не о войне:

«Все в жизни стало невозможно дорого! Белый хлеб 30 коп. фунт, ржаной 20 коп., а из роскоши и нарядов говорить нечего, баснословные на все цены! Страна погибает от войны и междоусобицы; 1917 год в истории лихолетья! Государь Император Николай II отрекся от престола! И брат его Михаил Александрович уклонился от управления. "Конституция", Временное Управление, Глава Правительства Князь Георгий Евгеньевич Львов, с выборами, Думой!.. Последние времена настали, возстало царство на царство, язык на язык!.. по местам: глады, землетрясение, трусы, и все это начало болезням!»

Высохло до остатка лето, и минула осень, засылая в предзимье свои холодные прощальные дожди. Много утекло с дождями событий и безобразий. Как вместить их все в летопись? Мелетий в последние годы стал немногословен. В жизни,

конечно, он еще мог наговорить молодому провинившемуся послушнику или не-радивой богомолке, но именно на бумаге стал молчалив. Когда жизнь была мирной, когда почти не случалось событий в рутинной монастырской жизни, Мелетий находил тысячи слов, подробно расписывая все сезонные погоды, переходы природы от зимы к лету, проведение церковных праздников и хозяйские неурядицы обители. Настала война, революция, за монастырскими стенами жизнь закружилась непонятной юлой — и Мелетий будто онемел. От растерянности ли, от подступившей старости?

Летописец скользнул взглядом по притихшей бабочке, подумал о сне вечном, окунул перо в чернила: «Настало гонение на христиан, землю при монастыре Подольские крестьяне самовольно завладели! В этом послужило поводом отобрание земель у господ, помещиков, и кабинетских, и у монастырей... Теперь мы переживаем самое тяжелое время. Дорожный разбой Красной гвардии и междоусобица — вот девиз нашего времени! Большевицкое управление с Октября! Вся сила в войсках!.. Прощай, старый год, по тебе не ноет грудь! Скорейшей бытной скорби».

Лист закончился. Начинать новый было не с руки, да и усталость навалилась на старца Мелетия. В самом низу посередине страницы он начертил «*Настоятель монастыря Игумен...*» и оставил место для настоятельской подписи.

К зиме из губернии стали приходиться совсем скверные вести. Вышел декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»: епархия передала церковно-приходские школы светским властям. Собственность церкви, движимая и недвижимая, объявлялась народным достоянием. Церковь приравняли к частным обществам и союзам, поступление финансов от государства прекратили, остались только пожертвования прихожан. Революция доброй половине тех самых прихожан «открыла глаза» на церковь, сняла с населения обязанность покорно сгибать голову, а тем, кто оставался верными христианами, самим не часто удавалось жертвовать: времена надвигались суровые. Духовенство не молчало: проводились крестные ходы, публичные молебны о прекращении гонений.

Перед глазами летописца поплыли недавние картины, бушевавшие в его пенах. Бывший председатель волисполкома, а теперь секретарь волостной земельной управы Семен Курусов дал отмашку в своем ведомстве, и миряне посрыгивали с цепей. Помещичьи земли в волости не было, а землю делить, как по всей матушке-Руси, нестерпимо хотелось. И только вышел «церковный» декрет, собралось на Поповых дачах крестьянское общество и вызвало туда монастырское начальство. Мол, мы грабежом не занимаемся, вот декрет, вот постановление волостной земской управы, было ваше — теперь наше. Монастырских отцов приехало поддержать белое духовенство Белогорья, понимавшее, что сегодня крестьянин добьется земель, а завтра выгонит священников из собственных домов.

Вперед смело выступил Павел Голубятников, обратился к Курусову:
— Бумага ваша неверно составлена. В ней вы, Семен Иванович, пишете, что земельный надел выдан монастырю крестьянским обществом, но это жуткая ложь! Земля пожертвована из частных владений, даже мне это известно. Не молчите же, отец Поликарп! — И Голубятников выразительно предложил выйти настоятелю.

Игумен Поликарп кашлянул и не так твердо, как Голубятников, проговорил:
— Это святая правда, отец Павел верно сказал. Землю нам пожертвовали через духовное завещание уже много лет назад помещик Христофор Подольский — 120 десятин, и дочь его госпожа Клеопатра Морозова — 93 десятины, всего 213 десятин. Вот у меня с собой весь свод документов, начиная с 1867 года, все купчие, духовные завещания, нотариально заверенные бумаги... можете убедиться.

Настоятель вынул из саквояжа шкатулку, но говорил неубедительно, будто и сам не чувствовал силы в документах и голосе своем.

Курусов ядовито улыбнулся:

— А ваша земля, господин настоятель, на которой сам монастырь стоит, кем дадена, не припомните?

Игумен Поликарп вконец растерялся, замямлил:

— Под монастырь земля давным-давно выделена, с тех пор как пещеры устроены, самим Александром Благословенным...

— Неправда ваша, — спокойно торжествовал Курусов. — Вы настоятель, и вся документация вам известна лучше, чем мне. И даже за давностью лет вы не укроетесь. Монастырь стоит на Белогорской земле, его крестьянское общество монастырю выделило. Ну так общество ее и забрать имеет право. Со всеми постройками, храмами, мельницей, садом, пасекой и прочим... Думайте, отцы. Обмен равнозначный: мы землю подольскую забираем: Шульгин яр, Монашеский бугор, Монашеский яр, а вам сам монастырь оставляем. Живите пока что.

Выжидал с ухмылкой приказчика, в свое время набрался опыта на службе у павловских немцев Адлера и Коблера. Духовенство почти не совещалось: сила была на стороне крестьян и земельной управы. Курусов первым протянул руку, как опытный делец, замазывавший провернутое дельце. Игумен внутренне содрогнулся, еще не привыкнув, что к руке его теперь не трепетно прикладывают губы, а жмут крепко, по-мужичьи.

Голубятников сказал в полный голос, не таясь:

— Погоди, деляга. Отплатишь еще.

— Да знаю, знаю, отец Павел, на том свете всем зачтется, — почти расхохотался ему в лицо Курусов.

— Не скроешься на том свете. На этом тебя еще достанут.

Курусов совсем завеселел:

— Так ты же сам, отец Павел, пропаганду вел. Забыл, как в девятьсот пятом собирал нас, молодежь сопливую, про партии нам рассказывал, про политику. Хватился, паря? Поздно.

Голубятников прикусил нижнюю губу. Он и правда вел разъяснительную работу во время первой революции. Тогда молодым просвещенным батюшкой он приехал в слободу и по вечерам, после уроков, собирал всех желающих в церковно-приходской школе на Рижку, вел довольно смелые беседы, растолковывал политику всевозможных партий, не только симпатичных ему. Старался быть непредвзятым, тщательно скрывал свою любовь к кадетам и монархистам. Теперь он проклял те дни. Хотя и не забывал о них, но не чуял до сего дня своей вины в масштабах революционных лавин.

Монах Мелетий провел пальцами по лицу, помассировал себе виски. За окном снег поборол дождя, за белой пеленой нечетко проступила гора, черные, облепленные с одного боку деревья, росшие по ее уклонистому скату. Мелетий отмотал летопись ровно на год назад, к декабрю шестнадцатого. Тогда его заботили хозяйственные нужды:

«Жизнь в монастыре полна успеха, в Марте месяце в монастырском саду, после пятилетнего бурения колодца на глубине Сорока сажен, появилась вода, с сильным напором! Работу эту производили много мастеров и рабочих, но на долю последних выпал жребий. Это крестьяне Слободы Белогорья Петр Иванов Шендриков и Архип Иванов Тоников с товарищами. Фонтан сильно бьет, так что воды собралось на восьми аршинной глубины, и вода на вкус лучше Донского родника! Теперь будут устраивать Бассейн и будут подавать воду: или ветрогоном или насосом!.. И по трубам будет проведены во все службы монастырския. Храм освятили, колокол новый приобрели, воду достали; гостиницы отремонтировали, теперь еще ремонт трапезного Корпуса!»

И снова Мелетий не верил прошедшим минувшим «чудесам». Ведь было все... и

пасека — шестьсот семей, воска для свечей в досталь... Осетра на развод в Дон выпускали, сад в 120 десятин, а в нем яблонь, груш и вишен даже на продажу хватало, виноград и персики — на кагор и для стола. Земля и вся округа, рожающая: лесной орех, рыба, опята с груздями, калина, терен, косылу били изредка из единственного в монастыре ружья. В феврале из окон на заячьи свадьбы любовались, рады глаза земному приплоду. Белая колоколенка, отдельно от храмов стоявшая: ни дверцы, ни воротины, ни маленького окошечка, чтоб человек внутрь пролез. Бабушки на колени падали и крестились умиленно — чудо господне... колокола сами звонят, без человеческой воли. И невдомек старушкам было, что вход в колокольную из пещер, по меловому подземелью проложен. Жили сладко, а ели без обжорства...

Здесь же, в декабре шестнадцатого, настроение архивариуса резко менялось, летопись стлалась на философский лад: «И так в жизни нашей, как в водовороте, как белка в колесе; народ суетится, мечется, любит и ненавидит, потом умрем и будет прах!.. Ужели все?! Ах, нет, грядет Святое время. Восстанут мертвые из гробов! И мы, живущие, изменимся! Вскоре во мгновение ока!..»

Мелетий встрепенулся, глазам своим не верил: «Господи! Надоумил Ты меня тогда, в ту спокойную минуту... И мы, живущие, изменимся... Метко, пророчески. Спаси нас, Господи...».

Монах безрассудно отмотал летопись назад: «1912 г. Пасха совпала с Благовещением, а в следующий раз такое случится только в 1991-м! Какое тогда будет время?»

Снег в союзе с вечерней тьмой заслонил остатки света, уже неразличим был из окна укрытый пеленою холм, за которым жило Белогорье.

Через полторы недели после столичного переворота новую власть здесь признали с такой же легкостью, как и Временную в марте. В уездном Острогожске стоял запасной 184-й полк, весь насквозь обольшевиченный. Благодаря ему свежая власть разлетелась и утвердилась по уезду. От полка помчались по волостям делегаты. На местах их встречали прибывшие с фронта братья — окопные солдаты, тоже зачастую державшие сторону большевиков, слышавшие о земельной программе и Ленине.

Были села и слободы, где поначалу работали параллельно вновь образованные революционные комитеты и оставшиеся от прошлой власти, еще неотмершие волостные земские управы. Там частично слушались распоряжений уездного ревкома, а когда было можно, их саботировали. В самом Острогожске уездную земскую управу взял под контроль местный ревком, и она продолжила служить в прежнем составе.

В «правительственных» кругах Белогорья ничего пока не изменилось. Начальством у Тихона оставался Василий Остапенко, казначеем и членом комитета числился Литвинов, а сам Тихон привычно сидел на секретарском месте.

Еще в сентябре, при последний днях Временной власти, появилась у Тихона новая забава — походы на заседание местной «рады». Они проходили в бывшем доме купца Семена Лозового, снятого теперь в наем под аптеку. Здание было добротное (купец бы другого себе не позволил), в полтора этажа, каменные крепкие стены, высокие потолки, под жестяной четырехкатной крышей. В темных помещениях полу-подвального этажа разместился аптечный склад, но были здесь и дворничьяя, и комната прислуги, и даже ванная комната с вмазанным в стену баком для воды и печью. Наверх вело две лестницы: одна с улицы, для посетителей аптеки, а раньше, когда здесь еще жил Лозовой, для покупателей галантерейного товара, другая — со двора, для бывших хозяев, а ныне для держателя аптеки — Павла Митропольского. Сам Лозовой еще в втором году войны собрал семью и вещи, куда-то переехал.

Торговую комнату нынешний хозяин дома быстро переоборудовал в аптеку. Стойка осталась, только Митропольский ее нарастил и прорезал окошечко, в ко-

торое подавал товар. На верхнем этаже хватили место под дополнительный склад для лекаров и самому Митропольскому для жилья. Был он родом из соседней Сергеевки, являлся сыном тамошнего дьякона. Откуда у дьяконского отпрыска взялись деньги для аренды таких хором и закупки аптечного товара, никто не знал, но было известно, что Митропольский почти всю войну проработал в столице, а уж там денежки водятся.

Тихона занесло в аптеку не случайно. Он шел в осенних сумерках со службы, у дверей стоял Митропольский, безусловно, знал, что Тихон из образованных, мягко заговорил с ним на суржике:

— Тихон Васильевич, желаю здравствовать! Слышал я, будто вы много песен малоросских знаете?

Тихон замялся, а Митропольский не дал ему ответить:

— Собираюсь общество организовать, кружок по интересам, может, даже с хоровым пением. Придете ко мне на должность хормейстера?

Тихон оторопел, тут же вспомнилось событие прошлого лета, тоже связанное с коллективным песнопением и чуть было не стоившее Тихону должности волостного писаря, потому как казенное место не место для хора. На него пожаловались, еле выпутался при проверке.

С тех пор минуло чуть больше года.

— Ну так как, Тихон Васильевич, пойдешь в мою «раду» хормейстером? — вернул писаря из воспоминаний голос Митропольского.

— А что за «рада» такая, Павел Алексеевич? — опомнился Тихон.

Митропольский любезно взял писаря под руку, оповел через лестницу в аптеку. В тот же сентябрьский вечер Тихон узнал, что Митропольский, как он себя сам называл — «щирый украинец», точно такого же украинца видит в самом Тихоне, а еще в десятке способных и толковых ребят из Белогорья. Он созвал их всех в свою местную «раду» и на установочном заседании заявил, что теперь, когда образование независимого Украинского государства не за горами, им самое время организовать. Потому как четкой границы между Россией и Украиной нет, то они и их рада должны создать местное самоуправление, которое возьмет на себя обязанность доказать, что данная территория, принадлежит именно Украинской республике. Тихон в первый же вечер задал интересный вопрос:

— Погоди, Павло, но ведь есть у нас губернский город, и мы ему принадлежим. Что ж мы всей губернией в Украину ухнем?

Митропольский улыбнулся, терпеливо начал объяснять:

— Нет, товарищи, мы москалячий Воронеж за собой не потянем, он нам только всю картину испортит. Вот у меня книга Веселовского, — аптекарь покрутил в воздухе увесистым томом, потом раскрыл титул, — год издания 1886-й. Так в ней сказано, что были мы в Слободской Украине, и места эти заселены казаками из Харьковского, Сумского и Ахтырского полков. Вот оттуда и есть наши корни, туда нам и следует вернуться.

Участники рады, собранные в торговой аптечной комнате, где Митропольский заблаговременно расставил несколько коротких диванчиков со стульями, переглядывались, иные вполголоса стали поддерживать идеи Митропольского. Хозяин аптеки хлебосольно выставил на журнальный столик склянку с длинным горлом. Барышни тут же засобирались по домам, парубки все как один остались, удерживать барышень не стали. Наполнили чарки и с криками «Хай живэ вільна Україна!» выпили.

И сегодня, в эту снежную декабрьскую ночь, когда зима, переборов осень, царствовала над землей, в аптеке собралось заседание рады, пятое или четвертое, Тихон уже сбился со счета.

Опять этот вечер, как и прежде, начался с доклада Митропольского. Аптекарь

напомнил, что Украинская Рада делает все новые шаги на пути к обретению независимости, даже мирные переговоры с немцами Рада ведет самостоятельно, отдельно от делегации Совета Народных Комиссаров. Иногда он переходил с суржики на чистый русский и декламировал по бумажке:

— Россия теперь — разлагающийся труп, который своим ядом может заразить Украину.

Потом, по традиции, спели несколько песен на украинском. В завершении аптекарь прочел коротенький рассказ Коцюбинского. Парни потирали руки, слушали невнимательно, с нетерпением ждали окончания официальной части и дармового аптечного спирта. Барышни опять торопливо оделись и ушли, приглашение остаться на вечерку в который раз не приняли. А парубки умело доставали из припрятанных мест разновеликие чашки и стаканы, раскладывали на журнальном столике нехитрую снедь, прихваченную из дома. Тихон, как всегда, делал вид, что пьет, на самом деле только пригубливал. Публика вокруг него быстро стала нетрезвой, полились чьи-то пьяные байки.

К Тихону подсел Митропольский, цокнул в его жестяную кружку красивым серебряным стаканчиком:

— Давай, Тышко, за все хорошее, до дна.

Тихон натянуто улыбнулся:

— Извини, Павло, к спирту не приучен. Как вы его пьете?

— А ты разбавь себе по сильнее, плесни водицы еще. Вот так. Только прошу тебя — до дна.

Они выпили залпом, Тихон видел напротив себя расчувствованные глаза аптекаря.

— Знаешь, Тышко, ты вот, возможно, и завидуешь мне...

— Совсем нет.

— Завидуешь, я же вижу. Смотришь на все это, — аптекарь обвел рукой вокруг, сам внимательно поглядел на стены, потолок, обстановку, будто видел впервые. — А ты знаешь, какой ценой мне это досталось?

Митропольский уже прилично захмелел и, прихватив Тихона за воротник и почти уткнувшись лбом ему в лицо, долго бубнил о том, как в Питере ввязался в какую-то нечистоплотную торговлю людьми и наркотиками. Но деньги ведь не пахнут?!

Тихон убрал лицо от аптекаря, слушать было противно. Но вырваться он боялся, а Митропольский продолжал сжимать его одежду.

— Потом совсем меня понесло. Связался, понимаешь... Они мне говорят: ты украинец, ты должен за свою страну бороться. А что мне эта Украина? Я про нее и знать не знаю... Научим, говорят. Денег дали, литературой снабдили... Я, Тишка, думаю, что это вообще не наши были, а с германской службы. Их в столице невпроворот. Народ говорил, их в каждом министерстве хватает, все заполонили, державу нашу развалить...

Тихон обернул лицо, сказал в упор:

— Из-за таких как ты развалили. Твоими руками, да твоими речами, — пивсарь ткнул в сторону плаката «Хай живэ...»

Руку Митропольского ослабели, Тихон встал, сдернул с вешалки пальто, подошел к окну. На улице под входной дверью намело сугроб, в нем копошился кто-то из поздних гостей, никак не мог встать. Митропольский сказал за спиной Тихона:

— Я думал, ты поймешь...

— А я не батюшка, чтоб передо мной виниться, — глядя в окно, бросил Тихон и, быстро одевшись, вышел на улицу.

Фонарь скрипел над дверью и бросал с высоты полуторного этажа гуляющий свет на потревоженный снег.

Со второй половины декабря стронулся Кавказский фронт. Оголялась Восточная Анатолия, солдаты вдоль дорог уходили к редким в этих местах рельсам, к новой, менее года назад проложенной Эрзерумской «чугунке», к порту в Трапезунде, чтоб морем плыть на родину. Из глубин Персии, из жарких месопотамских пустынь, наплывал встречный воинский поток, сталкивался с анатолийским, делился новостями и печалью:

— Ох и прокалила нас пустыня. Солнце такое — яишню на пулеметном щитке можно изжарить, — говорил высушенный югом, черный, как ржаной сухарь, солдат. Его вяло слушали однополчане.

Они почти потеряли надежду вернуться из великих пустынь в свои тихие, прохладные тверские леса, ступить на дышавшие плодородным слоем пашни и прижать к груди милые курносые лица с русыми прядями.

Щерба поглядывал на них со своей фурманки. Верховые обгоняли его, некоторых он запоминал и потом снова узнавал, когда нагонял в пути или на привале.

Офицеры, посрывавшие погоны, сетовали вполголоса:

— Еще немного и Энвер-паша сам бы полез с горя на купол Святой Софии, чтобы сменить полумесяц на крест.

— Говорят, турки бросились целовать представителей нашей мирной делегации прямо на нейтральной полосе, даже не зная наших условий и предложений.

— Да, могли бы выйти из ситуации не таким горьким путем, оставить за собой окопы, позиции, все то добро и миллионы русских рублей, что вбухивали сюда на протяжении трех лет.

Щерба вспоминал день, когда они уходили с позиций. К их санитарному городку вплотную подошли турки. Отчаянно смелый аскер, забравшись на вершину соседней горы, размахивал ятаганом, кричал на ломанном русском:

— Эй, рузге! Иди домой, на Волга! Черкес скоро на Кубань придет, Пятигорье придет! Брат-чечен освободит. Рузге до самой Астрахан резать будем! Цар мой дед-черкес с Кауказ в Турция выгнал, тепер я приду за деда мстить, башкам резать!

В толпе раздраженно проносилось:

— Хватай! Двести лет за них кровя проливали, нынче пускай сами себя оборонить попробуют!

Ездовой Шноли скорбно качал головой:

— Теперь всех армян под корень изведут.

Ему тут же возражали — или оправдывались:

— Этих изведут, наши российские останутся. Их в Ростове полно, и у нас в Крыму. Скажи, кругом порассыпано.

Шноли замолкал.

Фронт позади отступавших солдат оставался только на плечах армянских ополченцев. Командование демобилизованной армии передало им много артиллерии, часть воинских складов и боезапаса. Не за страх, а за совесть среди армянских воинов осталось добровольно около двух сотен русских офицеров и унтеров. Им было куда отступить, их тоже ждали среди лесов и равнин семьи, но они остались. Помимо армян, позиции подпирала айсоры — местное семитское племя, потомки древних ассирийцев, столь же ненавидимые турками, как и армяне.

Голод наступал на эту разоренную войной землю, но в день по полтора фунта хлеба и баранины в избытке пока выдавали. Еще дрались за отбросы из полевых кухонь местные курдские дети, еще было что отбрасывать, но эшелоны с провизией, посылаемые из богатых кубанских и терских долин, даже не достигали Закавказья, не то что фронта. Они глушились и растаскивались в предгорьях. Опустевшие вагоны обратно утекали в Россию.

Уже доходили слухи, что на пути отступления образовался новый фронт — горский, из восставших местных народов, и что его придется либо прорывать с боем, либо чем-то откупаться, как на разбойничьей дороге в стародавние времена. Распущенные и деморализованные солдаты пытались вновь сплотиться, но получалось не всегда.

Щерба повстречал Остатнийгроша в самом начале пути, только стронулись они с позиций. Потом, в столпотворении и потоке, им бы это не удалось. Щерба видел, что и Остатнийгрош рад их встрече, немного удивлялся этому, думая про себя: «Зачем я ему понадобился? Что с меня толку?» Но фельдфебель хлопал Щербу по плечу, балагурил и обещал, что вместе они не пропадут.

Поначалу фурманка их тащилась наравне со всем санитарным отрядом, потом на одном из привалов отстала, затерялась. Теперь они были сами посреди отступавшего солдатского моря. Фурманкой правил Шноли, тщательно следил за лошадьми. Временами они сажали одного-двух из оставших солдат, подвозили. Те расплачивались, кто махоркой, кто куском сырой баранины, кто свежей парой портянок, фурманка кормила.

На одном из переходов Остатнийгрош толкнул ездового локтем, указал на вялого парнишку:

— Гляди, из твоей породы, кажись.

Шноли вгляделся в бледное измученное походом лицо юноши, признал в нем иудейскую породу, почтительно спросил Остатнийгроша:

— Разрешите предложить ему место у нас, господин фельдфебель?

— Валай, чего ж. Подохнет мальчишка.

Юнца упрашивать не пришлось. Он завалился на дно фурманки и подобрал под себя ноги. Щерба протянул ему кусок засохшей лепешки. Новый попутчик назвался Эдиком, фамилия его была Дзюбан.

— Откуда родом, брат-еврей? — полуобернувшись, спросил Шноли.

— Из Одессы.

— Земляк! Нам с тобой по пути.

— А на Кавказе давно ли? — интересовался Остатнийгрош.

— Два месяца с небольшим. Служил делопроизводителем во врачебно-питательном отряде союза помощи больным и раненым.

— Тебе б самому кто помог, — скаламбурил фельдфебель.

— Это так, помощь бы мне не помешала, — покорно соглашался Дзюбан.

— Как думаешь на родину пробираться? — выпытывал Шноли.

Эдик приподнял голову с соломы, проговорил негромко, почти заговорщицки:

— Я слышал, в Трапезунд еще приходят пароходы и развозят наших по портовым городам: в Сочи, в Батум, в Ялту и Севастополь.

Стали искать дорогу на Трапезунд. День путляли, два дня шли к городу-порту, потом уткнулись во встречный солдатский поток. Ругань, крики, возмущение: «В Трапезунде пароходов не осталось! Весь транспорт ушел набитый до отказа!»

Фурманка повернула обратно к «чугунке». Эдик съежился, в глаза попутчикам не смотрел.

К узловой станции в Александрополе первым вышел персидский — восточный армейский поток и принялся занимать пустые поезда, шедшие на юг. В Эрзерум приходили полные эшелоны. Солдаты, ждущие обещанного транспорта, бранились, но поделаться ничего не могли, в своих не стреляли и с боем вагонов не штурмовали — в здешних туземных краях русский человек дорожил русским, попусту его на тот свет не отправлял. Так солдаты из персидского потока катились на юг до Эрзерума или Сарыкамыша, утыкались в переполненные вокзалы, теснились, впускали еще людей и шли обратно к Тифлису. Остальные невмещенные массы шли вдоль рельсового полотна, сплачиваясь в ватаги, добывали лошадей и

пищу, привалились на полуночную сторону, на далекую, отрезанную Кавказом родину.

Идти по «железке» думали организованно, «передками» — вышедшие вперед части должны остановиться на обговоренных местах и охранять дорогу, пропуская задних, но это не сбылось. Части напозлали друг на друга, торопились, обгоняли, смешивались.

Из слухов, из солдатских и офицерских разговоров, из грузинских газет складывалась общая обстановка:

— Грузинец нашего брата в Тифлис не пускает.

— Известно, погромов боится.

— В Закавказье теперь национализм всех мастей. У армян — дашнаки, у грузин — меньшевики, у местных татар — мусават.

— Все хотят своей собственной армии, а вооружить ее нечем. Раскошеливайся, русский, отдавай винтовку и езжай в «свой вонючий Россия».

— Принимаем резолюцию, братва: в армию грузинскую не вступать, оружия не сдавать! Кавказ и до войны место беспокойное, а после революции, когда народы распоясались, — втрое глазастей быть следует. Как нам домой без оружия пробиться? Чечен нас голыми руками тогда возьмет.

Грузины располагали лишь одним бронепоездом и шестью десятками человек obsługi к нему. Еще с севера шел на помощь отряд Дикой дивизии, закаленный в боях с немцами, и шестьсот человек князя Магалова — грузины заключили договор о взаимопомощи с азербайджанцами. К месту разоружения стекались толпы кавказцев, им тоже позарез хотелось винтовок и пистолетов. Грузинские власти вступали с представителями солдатских комитетов в переговоры, договаривались об организованном разоружении. На бумаге все было продумано до мелочей. В ущелье, где русским будет сложно использовать свою массу, удержать оборону или дать отпор, подгоняется поезд, люди выкладывают оружие и едут дальше. Но бурное время плевало на бумаги и резолюции. Грузины успели разоружить только один эшелон, дальше в дело вмешалась русское нетерпение.

Солдаты не желали мириться с волокитой и простым, которые возникли при разоружении, очередь не соблюдали, управлению не подчинялись. В итоге под Шамхором набилась пробка в четырнадцать эшелонов. От распатроненного поезда неслись недобрые слухи: «Грузины безоружных грабят! Выгребли из полкового хозяйства муку, масло, сено и лошадей. Не сдавать ружья!»

Грузины подогнали бронепоезд, вовремя подтянулись всадники Дикой дивизии. Солдаты, ехавшие с фронта, слишком устали от войны, и первые четыре эшелона, скрипя зубами, все же сложили оружие. Сложил его и пятый эшелон, но только до половины. Потом грузины потеряли бдительность, подогнали свой бронепоезд вплотную к платформам пятого эшелона. И на этих открытых платформах стояли расчехленные орудия, а за ними прислуга, твердо решившая пушки свои не сдавать ни турку, ни армянину, ни самому черту, и ждала грузин с горячими объятиями. Промаяхнуться с такой дистанции сложно было даже младенцу. С первого залпа командира грузинской делегации и всю его подручную компанию разнесло на куски. Второй и третий залпы превратили грузинский бронепоезд в груду обломков.

Не зевали горцы из Дикой дивизии, тут же завязав стрельбу. Патронов у русских было немного, в основном они добровольно передались на нужды армянской ополченческой армии еще там, на фронте. Быстро исчерпав боезапас, солдаты сдавались. Быть может, они пошли бы в рукопашную, продали свои жизни подороже, но в эшелонах оставалось множество тяжелораненых и больных, ехали сотни гражданских — семьи чиновников, железнодорожников и земгусаров, навсегда покидавших этот край. Эшелоны сдавались на милость победителей, увы, это не

спасало их от наглого грабежа. К Шамхору стекались все новые толпы местных, жадных до наживы. Из анатолийских глубин наплывали поезда и колонны отходивших с фронта русских.

Впереди погромыхивало, на вершинах гор взблескивали оранжевые вспышки — отсветы далекой орудийной пальбы.

— Началось, — со злостью рявкнул Остатнийгрош. — Видно, не последняя наша драка. А я, дурак, с окопа вылезал, махнул турку на прощанье. Бывай, говорю, радуйся, что на мушку мне не попался... Рано я ружье свое заклинил.

Продвинулись еще версты с две, стали попадаться становища, пылали костры, стучал топор в заиндевелой роще, звонко ломалась проморозенная палка о солдатское колено. От ближнего болота несли охапками высохший камыш. Хмурились бородатые лица, мрачно и недвижно плясали огоньки в застывших взорах. Тянуло от котелков пшенной кашей, бараньим духом и ружейным маслом, в жидком кулеше тонуло мелконарезанное сало. Звякала рассупоненная шлейка из казачьей верховой упряжи. Фурманка пристала к обозу, начали обустройство. Щерба с Эдиком сбегали за дровами, Остатнийгрош колдовал над ужином, Шноли пустил лошадей на побитую морозом траву, крутился возле них, не спускал пальца с курка, готовый оборонить лошадей до последнего вздоха. Дзюбан раздобыл тифлисскую русскоязычную газету, придвинулся ближе к огню:

«Крайне тревожные сведения получены из Грозного, где по случайному поводу на станции произошел инцидент между толпой граждан и чеченцами. Возникла перестрелка, во время которой оказались убитые. Вскоре Грозный оказался окруженным чеченцами, захватившими станцию и дорогу, прервавшими телеграф. Нефтяные промыслы горят. Положение жителей Грозного отчаянное. Охрана города едва ли может противостоять натиску больших сил чеченцев. Город окружен окопами. Всюду идет стрельба. Чеченцы требуют обезоружить гарнизон, обвиняя солдат в убийстве двух офицеров-чеченцев, что явилось началом событий. Гарнизон категорически отказывается разоружиться. Каждую минуту может начаться осада города. Население находится в неопишуемой панике. Передают о массе жертв во время пожара нефтяных промыслов».

— И вот для кого нас хотят снова в окопы вернуть? — сокрушался Остатнийгрош. — Пускай бы эти джигиты против турка шли, а не в тылу у нас разбоили, паленным керосином попусту небо топили.

На рельсах стояла одинокая цистерна, по ее округлым бокам застыла потека черная, как ночь, нефть. Двое расхристанных солдат, откинув крышку, ворочали в цистерне багром, вынимали и сбрасывали под откос слипшиеся противные сгустки. Щерба различил в них блестящие от нефти руки, ноги, головы.

— Кто это? — выдал он.

— Местные, — запросто ответил один из солдат.

Второй проворчал беззлобно и обыденно:

— Погоди, еще не так казнить будем... Они у нас напьются.

Через лагерь шел мужчина в нижнем белье, тряся мелким ознобом.

— Сердяга, иди обогрейся, — позвал его Остатнийгрош.

Мужчина опустился рядом с костром, протянул к огню руки, ноги в разбитых татарских чуваках.

— На сменку дали? — кивнул фельдфебель на его дрянную обувь.

— Дали, — потерянно и глухо отозвался мужчина. — Пожалели меня.

Остатнийгрош протянул ему кружку кипятку. Мужчина взял одеревенелыми пальцами, пригубил, начал потихоньку рассказывать:

— Нас много было, человек четыреста. Мы простые пассажиры, мы не военные. Когда пропустили нас в стан этих разбойников... до нитки обобрали... Сапоги, верхнее платье, про ручную багаж и деньги — говорить нечего. До Шамхора

версты три... детей не пощадили тоже, всех раздели... Женщину на моих глазах насилывали... В одних рубашках остались... Богатые стали нищими, здоровые — калеками. А дальше что?.. Я повернул, я не выдержал...

Дзюбан укрыл несчастного своей шинелью, проговорил сочувственно:

— Колонистов нигде не любят, особенно слабых и битых, как мы.

По лагерю шел высоченный кубанец, нес ящик абхазских мандаринов, раздавал каждому, приговаривал:

— Нехай у всех будет праздник на душе.

И будто бы шел казачина по собственной станице, будто не окружали его темные, чужие и непролазные горы, будто не засела в этих горах половина Кавказа, не желавшая расставаться с русским оружием, одеждой и деньгами.

От соседнего костра донеслось:

— Братцы, какое число сегодня?

— То ли тридцатое, то ли тридцать первое...

Щерба вспомнил, что уже конец декабря, а может, и начало нового месяца, попробуй тут уследи. Перед глазами его поплыл день годичной давности, последний декабрьский день шестнадцатого года, канун волшебства и праздника.

Его пригласили в известное заведение. Богема, поэты, но львиная доля гостей — «фармацевты» — люди из публики, не пишущие, но богатые и обожающие поэзию с искусством, за счет них держалось заведение. Оно подражало традициям исчезнувшей к тому времени «Бродячей собаки» и недавно открытого «Привала комедиантов». Все в нем было на манер культурного кабаре. Только расположилось оно не в подвале, а в особняке времен Елизаветы. Создатель заведения добавил в атмосферу пьянящего литературного кафе фантазмагории, буффонады, пышности и богатства, изысканного декорирования стен, расписанных в стихии венецианского карнавала. На посетителей глазели нарисованные шуты, арлекины, ряженные дьяволами музыканты, средневековые чумные доктора и мортусы в черных громоздких плащах, блудницы, полуголые мавры с кожаными ошейниками, карлицы, акробаты и танцовщицы в черно-белом домино — всем доставало места на высоких стенах. А потолки тонули во мраке, и свет от канделябров не продавливал тьму.

На маленьком подиуме проходили постановки модного экспериментального жанра, в стиле и с полным подражанием Доктора Дапертутто, иногда устраивался театр теней.

Алексей должен был готовить прически дамам, участвовавшим в дефиле. Каким оно будет, парикмахер не знал. В выделенную для него комнату по одной заходили девушки и молодые женщины, объясняли свои прихоти, жаждали соответствовать стилю барочного особняка, Алексей воздвигал громадные башни из рыжих, черных, каштановых волос и шиньонов. Когда все было готово, его позвали в залу. Вот-вот должно было начаться дефиле.

Из отгороженного угла изредка прорывался кошачий рык. В этот вечер залу освободили от столиков, а от массивных двустворчатый врат шла ковровая дорожка и упиралась в широкие столешницы с напитками и закусками. Гости разбились на разновеликие кучки. Смех, разговоры, пересуды. Костюмы шотландской материи, платье парижской моды, с таким трудом доставленные морем из отрезанного фронтами мира. Тусклый свет канделябров, короны оплавленных свечей, игристое шампанское, облаченное в тонкое, хрупкое стекло, искорки на кубиках льда, прозрачный сок омаров и лимонных долек, блеск драгоценностей, ароматные букеты парфюма. Маски, маски, маски...

На театральном подиуме восседало струнное трио: две скрипки и виолончель, по залу волнообразно плыла хищная музыка. Она на миг стихла, хозяин заведения коротко объявил о начале, и музыка снова впилась в пространство залы. Створ-

ки врат распахнулись, пустив к высочайшему потолку гулкое эхо, за дверями открылись тяжёлые портьеры. Складки бархата сами собой поехали в стороны, вышла первая участница дефиле.

В зале не было холодно, но Щерба подумал: «Бедная, как она не мерзнет?» С первой секунды Алексея бросило в дрожь. На даме были красные замшевые ботфорты выше колен, красные же, тонкого шелка перчатки до локтей и алая палаческая маска. Больше ничего. На плече она несла аккуратный бутафорский топор, из прорези алого колпака на зрителя надменно глядели два зеленых глаза. Бедро ее опоясывала татуировка в виде кружевной подвязки. Попадая в ритм пульсирующего, входившего в моду танго дама профдефилировала к столу, где взяла бокал, приподняла край алой маски и пригубила из него.

Следом появилась прелестница с телом, покрытым черной краской. На лице ее были различимы только белки глаз, все остальное тонуло в полумраке и гриме. По плечам плескались чужие неестественно-белые пряди, на груди танцевала связка бус, а на бедрах шелестело ожерелье из морских раковин. Она тоже прошагала к столу, угостилась и смешалась с толпой. Появилась греческая муза в прозрачной сверхкороткой тоге, трагической маске с опущенными вниз уголками губ и золотой лирой в руках. Турчанка, крутившая на ходу обруч под звон монет и крохотных погремушек-бубенчиков, монистом укрывавших ее шею. Пошли дамы в широких венецианских масках, с творениями Щербы на голове. Алексей узнавал сделанные им прически, вспоминал по ним лица.

Сквозь полуднепот восторгов и обсуждений прорезался отчаянный крик:

— Это скандал! Шабаш!.. Кругом меня ведьмы!..

Тщедушный мальчик сдернул маску, схватился за сердце и рухнул в обморок. Его со смехом вынесли на воздух, участницы дефиле задорно кричали вслед:

— Окуните его в снег, малыш переволновался! Какой-то особо возбудимый.

Дамы разобрали бокалы, разошлись по залу. Одна грациозно прилегла на тахту, напротив нее уселся художник в костюме арлекина, достал альбом, делал скорый набросок пастелью, попросил поднести больше света. С треском пылали поленья в камине, плясали блики на красочных фигурах стен, на белых телах и карнавальных масках, на черной блестящей шкуре животного, тревожно ходившего в своем углу и мелодично звенящего золотой цепью.

Щерба все не мог унять бившую его дрожь, он бывал в «Собаке» и в «Привале», но такого не случалось. Алексей подошел к столу, махнул полный фужер не отрываясь. Он увидел новую участницу дефиле. Щерба пропустил ее или она вовсе не выходила из врат, а появилась незаметно. Это была русалка в зеленом парике и рыбацкой сетке. Лицо ее укрывала картонная личина, расписанная на скоморошный манер: румяные щеки, необъятная улыбка, веселые, но мертвые глаза. В сетке ее застряли лилии и кувшинки из папье-маше, зеленые клочья тины. Они укрывали все значимые места, но все равно позволяли разглядеть сложение русалки, линии ее живота и бедер. По одной редкой особенности, мелькнувшей сквозь сетку, Алексей угадал в русалке небезразличного ему человека. Едва утихшая дрожь с новой силой стала колотить его, он хотел крикнуть, позвать ее, обругать тут же, но престолан невнятное и бросился из залы. Позади его насмешливо уронили:

— Еще один нервный, религиозный...

На следующий день он пришел к ней, к «русалке». Улицы были завалены веселым народом. Люди гомонили, радовались покупкам, с лентой хвалили власти, расстаравшиеся для праздника и наполненные полки магазинов. Алексею в то утро не было до этого дела, как и до всего остального. Люди, как всегда, ждали от Нового года новой жизни и новых побед. Алексей ожидал конца.

Она впустила его, но предупредила, чтобы он не устраивал сцен. Щерба пообещал. С прерывистым дыханием, едва сдерживаясь, он начал:

— Зачем ты пошла туда?

Она молчала, глядела в окно, где лихач катил по заснеженной улице и вереща-ла деваха с ожерельем из баранок в жарких объятиях мужа или любовника.

— Как ты вообще туда попала?

— А ты считаешь, только тебе позволено ходить на такие увеселения? Почему ты обижаешься на меня, за что не в силах обидеться на себя?

— Нет, я на себя обижен... именно на себя... Сейчас ты в этом убедишься.

Щерба вынул револьвер, приставил себе к виску.

— И для того, чтобы смыть свою обиду, ты пришел ко мне? Наедине тебе было неудобно? — увидев его отражение в окне, сказала она.

Рука Щербы задрожала, он понял, как глупо выглядит, убрал пистолет, по-том, снова решившись, направил его в грудь. Она хладнокровно промолвила:

— На фронте ежедневно гибнут тысячи, без всяких самоубийств.

Полгода спустя, закрывая парикмахерскую на замок и отправляясь вместе с Хвостовым к призывному участку, он, конечно, вспоминал те ее слова. А тогда Алексей яростно швырнул пистолет о стену — и тот продырявил потолок.

Грохнул выстрел... Близкий, за соседней горой, совсем не там, где горели ваго-ны и шла оружейная пальба, а здесь, рядом с раскинутым лагерем. Он вырвал Щербу из полузабытья. Бывший парикмахер встряхнулся, кинулся к фурманке за оружием. Пальба разгоралась, солдаты падали у костров, как слепые стреляли наугад во тьму. Перед носом распластанного на снегу Щербы оранжевым пятном веселила глаз мандариновая корка.

ГЛАВА V

Вагон был полон приличной публики. Ехали дамы в модных шляпках, чинов-ники в пенсне, переодетые в гражданское бывшие офицеры. В обеих столицах и губернских городах начались ночные обыски, аресты, расправы. Все прикрыва-лись именем новой власти, но разобрать, кто из них обычный грабитель, а кто действительный комиссар, было невозможно. Обличие и одежда и у тех, и у дру-гих казались неразличимы, а «мандат» в ту пору подделать было легко. К тому же за спрос «мандата» часто и очень легко прилетал приклад в голову.

Платон Ставров торопился на родину, в родительское поместье. Он покинул Зимний одним из последних. В те дни уцелевших юнкеров еще не ловили на ули-цах, не отстреливали, как бешеных собак. Им дали разойтись по домам. Это по-том, когда они подняли восстание, попытались открыть город изнутри и выйти на помощь идущему со стороны Гатчины Керенскому, юнкера навесили себе вместе с погонами несмываемое клеймо — контра. Ставров уцелел и в этих запоздалых уличных боях. Когда их разбили — бежал подворотнями, проходными дворами, барабанил в случайные двери и знал, что никто ему здесь не откроет, ведь обита-тели трущоб на стороне мятежников. Он чудом выбежал на пристань и укрылся в ящике с лебедками и канатами. Лежал до ночи, стучал зубами, проклинал Крас-нова и Керенского, Маркса и Вильгельма Второго.

Ему удалось раздобыть одежду, благо остались люди, ценившие серебряный империял, имевшие немного совести и не сдавшие его в ближайший комитет. По-езда пока еще уходили на Москву, хотя и чувствовалась теснота. Вагоны не были сплошь забиты приличной публикой. По домам ехал все тот же пресловутый сол-дат. Над головой стиснутого с обеих сторон Ставрова маячили ноги в разбитых сапогах, под нос дымилась вонючая сигарка. Лицо свое он старался делать беспри-страстным, и в голове постоянно зудело: «Ну я-то ладно, два года в окопах проси-дел, привычный. А как дамы? Вон той, кажется, уже плохо».

С верхней полки тек разговор:

— Жену свою я чудно повстречал. В лето перед той зимой у нас полхутора от холеры померло. Мужиков здоровых осталось: я — мальчуган семнадцатилеток, да дядя Калистрат, мужик не старый еще. Пошла благоверная моя будущая со своей мамкой на озеро, ковшами из проруби рыбу черпать, когда рыбе муторно и она душится без воздуха. А до того ни разу по рыбу не ходили, нужда их выгнала, мужика в доме не стало. Мест не знали, набрали на родник, под ним ледок-то живой. Как там у них получилось, провалилась она. Пока мать ейная в хутор за помощью бегала, да в избу ее на салазках везли, чуть живая она осталась. А ледышку-человека знаешь каким манером греют? Кладут с двух сторон по бабе, ежели мужик застыл, и бабым телом греют, чтоб человеचे тепло вновь в душу вошло. Ну, а бабу — наоборот, сообразно. Вот нам с дядей Калистратом и выпало отогреть. Против нас только деда да сопляки остались. Мне, понятно дело, попервой в постелю совестно лезть. Дядька Калистрат кулака мне в загривок влепил, скинул я барахло с себя, лег. С полчаса лежала она, как глыба погребная, которую на сазана в наших краях наваливают. Но мы с дядькой Калистратом не сдаемся, льнем плотней. По постелях пятно мокрое от ее поползло, оттаивает, значит. Зашевелилась. То ли в забытыи еще была, то ли так ей правильной показалось, а схватила она дядьку Калистрата за удок, дядька к ней обличьем лежал, да куда надобно себе приставила. Его на короткое время хватило, у его жинка тоже от холеры померла, видать, стосковался он без бабьего тепла. Она тогда с боку на бок обернулась, давай меня нашаривать. Дядька Калистрат из-за плеча ейного мигает мне, мол, не тушуйся.

— Что, и весь сказ? — спросили равнодушно.

— Да нет, продолжение имеется. На Масляной с городу через Волхов мы с сестрою шли, так я в закраины провалился, а она, резвая косуля, перескочила. На берег-то я сам вышел, но до дому еще с три версты. Пока дошел, чую: все, что ниже груди — отнялось. Сестра народ кликнула. Приходят к нам тетка Марфа да избранница моя. Говорит: «Долг платежом красен, не допущу, чтоб ты бессильным по мужской части остался». Тетка Марфа со спины легла, да и захрапела в тот час, деланно, не натурально... Уж после второго случая на хуторе стали поглядывать на меня, как на вора. Промеж себя говорят: «Что ж такое? Девкой овладла оба раза, а сватов не шлет».

Ставров тошнило от бесхитростной мужицкой откровенности, от вониючих сапог и махры. Его разглядели в темноте вагона:

— Что, вашбродь, несподручно с серой скотинкой в одном вагоне катиться? А мы вот так три года в окопах гнили.

Ставров исправил свое лицо:

— Я сам окопный, братцы. В Галиции год воевал, пока не ранило, потом еще...

— Ладно, езжай уж, не тронем. Из вас тоже понимающие были. Ох, у нас ротный был! Порядочный — до христианства.

Солдаты принялись обсуждать командиров:

— Один в запасном полку был, сволочь — не то для него слово. До того нас мордовал, что один раз на учениях Кондратьев его вместо чучела на штык намотал. Наши драконы тогда присмирили, на недельку их хватило, а после опять за свое. Кондратьев окопов так и не увидел, с казармы на каторгу его.

— Наш батальонный пса в землянке держал, рыжей масти. Майор сядет пленных допрашивать, а собака у ног неподвижной лежит, уши по полу красные. Майор пленного шпыняет, пес лежит, как дохлый. Майор раскалится, на пленного заорет, пес встанет, на хозяина глянет, как плюнет, и в землянку. Тот ему: «Ральф, Ральф!», а пес как ушел, так и не вернется, мол, говори вежливо.

— Собака и плюнет?

— Тьфу, балбес! Да к слову это.

Ставров поднял воротник драпового пальто, откинулся спиной на вещевые мешки и чужие узлы, вспомнил, как учил перед самым Февралем тезоименитства многочисленной царской семьи и никак не мог запомнить. Проклинал экзамен и желал: случилось бы что-нибудь такое, чтоб этот ненавистный экзамен исчез, насовсем, навечно, чтоб и памяти не было. Вскоре грянул Февраль и сдачу тезоименитства в юнкерском отменили.

Под эти воспоминания Ставров забылся. Ему снилось детство, терраса на заднем дворе их столетнего дома, милое семейное гнездо. Теплая ночь в июле, уха-ные филины в роще, совсем близкое уютное и ничуть не страшное... Отец задувает лампу, возле которой он читал вслух ему, семилетнему Платону, Жюль Верна. Мотыльки еще бьются в теплое, но погасшее стекло, попыхивает дымком труба в самоваре. С террасы — вид на рощу, растворенную во тьме, и только округлые вершины вязов-великанов различимы на фоне неба. Отец показывает на зелено-голубые россыпи:

— Видишь, Платоша?

— Да, — с замиранием и восторгом отвечает Ставров.

— Ты думаешь, что это?

— Звезды, папа.

— Нет, сынок. То, что мы привыкли называть звездным небом, на самом деле — китовый живот. Он над нами, этот могучий небесный кит, и за тысячи лет брюхо его обросло ракушками, моллюсками, скатами, морскими звездами. У него кривой и широкий ус, люди зовут его «млечной дорогой». Иди твердо своею дорогой, Платоша, не сворачивай. И помни: если станет китовье брюхо не таким, как раньше, — что-то в мире делается не так.

Ставров встрепенулся от солдатского хохота, сидел ошеломленный, думал: приснился ли этот рассказ ему только что или был с ним, выходил из отцовых уст, но забылся, как забываем мы момент своего рождения.

Солдаты тоже перетряхивали свою память:

— Фанфаронистей матросни никого негу. Жила в нем дерзкая, морская, жалости ни к чему, стыда немає. Он тебе хвастает и хвастает, а ты в ответ молчи.

— В феврале да марте зверее всех матросы баловали. Здоровые они, как быки, мясные такие, красные, шкура разрисованная, и сила в нем, и не боится. Пить там или кокаин — на все первые ребята.

— Как за кого матросня встанет, пушками того не добить. Дошли мы до одного подозрительного, вроде как из себя комитетчик, однако сомнительный, хотели управить, а у него на диванчике матрос броненосцем сидит, до того вооруженный. Беру, говорит, на свою ответственность. Так мы и ушли.

— А ить он и матрос до себя домой поехал, на деревню. Держись теперь, буржуи.

* * *

Ставров вышел, не доезжая Москвы, боялся больших городов и заторов, пересел на другую ветку. Неторопливо подходил он к родному порогу, хотя беспокоился за мать и отца, ожидал ужасного и все же медлил. Потом Ставров внезапно решил ехать на юг, где, по слухам, вокруг донского казачества стекались ртутными пятнами офицерские толпы.

На вокзалах и станциях не протолкнуться от солдатни. Злые, всем недовольные, даже путь домой их не радовал, потому что слишком затянулся. Из станционных глубин и путевых хитросплетений медленно наплывал состав. В него запрыгивали на ходу, лезли внутрь через окна, цеплялись за поручни площадок. Ставров взобрался одним из первых и обнаружил, что коридоры уже завалены бага-

жом и людьми — гражданские давали взятки кондукторам, и те устраивали им места еще в тихой обстановке вагонного парка. Солдаты материли бедных дамочек и почтенных стариков, грозились очистить от них вагоны, но поезд набирал обороты, детский плач еще способен был вызвать сочувствие, вскипавшая солдатская злость с каждой пройденной верстой утихала. Кое-как расселись, втиснулись, отвоевали завидные места. Дети забили даже тесные конурки для багажа над верхней полкой.

Снаружи вагон атаковал декабрьский ветер. Люди внутри стыли, прятали лица в поднятые воротники, кутались в муфты и шарфы.

Ставрову не спалось. Напротив него дремала женщина, из ее пошатывавшейся руки выпало письмо, от нечего делать Ставров поднял его и при тусклом свете из окна принялся читать:

«Дорогая Вера!

Если есть возможность выехать из Москвы — выезжайте с Алей, Ириной и Любой в Коктебель. Пра предлагает Вам бесплатно комнату и стол. Узнайте на вокзале, доходит ли багаж. Тогда соберите часть вещей менее ценных в большую корзину. У нас их две: внизу и рядом с Сережиной комнатой. Выберите ту, что покрепче, и перевяжите веревкой. Если багаж не доходит — зашейте вещи в несколько тюков. Возьмите на это старые простыни и серое байковое (Сережино) одеяло.

Пра и Макс Вас очень ждут. А если Вы не уживетесь здесь — дорога моя. Здесь трудно, но возможно. Но сегодня второй день нет газет, и я чувствую, что не выживу здесь без детей, в вечном беспокойстве. Любу соблазняйте морем, хлебом, теплом, спокойствием. Да! Необходимо взять в вагон чайник, кружку и детский предмет, а то пропадете! Не забудьте губку, клизму, частый гребень.

Может быть, дороги уже встали, может быть, письмо мое напрасно — что делать! Я сделала все, что могла, я так просила тогда Сережу взять Алю. Здесь ничего нельзя купить. Берегитесь дорогой воров!!!

Ну, поручаю все это на Божью волю! Если ехать страшно — не поезжайте, если трудно — все-таки поезжайте. Здесь проживем. Если выехать не удастся — устройте это с моими банковскими бумагами и драгоценностями и передайте Никодиму или Тане. Особенно — бумага. Если не поедете, сдайте детскую! Целуйте детей. У нас все хорошо. Погода теплая, гуляем без пальто, но по ночам холодно.

Пра и Макс очень зовут Вас.

МЭ».

Бывший юнкер аккуратно вложил чужое письмо в руку спящей женщины.

Он выбрался через окно на следующей станции, взял штурмом ехавший в обратную сторону эшелон, повернул к родному поволжскому поместью.

Поезд отнес Ставрова на север от Москвы. Здесь было немного спокойнее. Он встал на постой к горожанке и полнедели жил у нее. Каждый день ходил в Лавру, помня о заветах старцев: когда в миру тебе не рады — ищи спасенье для души. Бывший юнкер склонялся над ракой святых мощей, просил Сергия надоумить его, вымалывал защиты для своих родных. На третий день он заметил в старинной кованой двери круглую дыру, в нее прошел бы кулак Ставрова. Края жести свернулись лепестками, пробоина походила на огромный цветок. Рядом стояла надпись: «Отметина ядром в осаду от поляков 1608 году».

В пути Ставров не раз слышал о церковных грабежах.

Новая Смута, новые интервенты, значит, будет и новое Ополчение... Значит,

где-то есть новый Минин?.. Корнилов бежал из Быхова на Дон... Корнилов, со своим калмыцким лицом. Новый татарин, нареченный спасти православную Русь.

Ставров встал с колен, прижался лбом к холодной раке, благодарил святого, не думая, что эту мысль, даже в моленном месте, мог подкинуть ему в голову кто-то иной, с Богом не связанный.

Он решил навестить родных, может быть, увлечь их за собой на юг. По-прежнему добирался к дому с оглядкой. Где пешком, где с пересадками доехал до родной губернии. Из вокзальных углов неслись разномастные пересуды:

— Скалон застрелился на мирных переговорах в Брест-Литовске.

— Не мудрено, а бы тоже пустил себе пулю в лоб, если б меня заставили участвовать в этом балагане. Подумать только — страной управляют псевдонимы...

Дом был уже близко: несчастливых четьре версты. Ставров шел, оскальзываясь в пробитой санями колее, под рыхлым, еще не сваявшимся снегом громоздились замерзшие ухабы, оставленные осенней хлябью. Ставров промерз и жутко устал, а дом соседних помещиков стоял на пути. Белоснежный особняк терялся среди белоснежных снегов, и только тускло подсвеченное окошко на втором этаже выдавало его. Ставров свернул на огонек. Он сунулся к крыльцу, но заметил, что заваленные снегом широкие ступени никем не тревожены, будто дом и не жилой вовсе. Ставров пробрался на задний двор, к черному входу. Здесь были пробиты дорожки, кое-где снег проеден до земли пятнами. В темной конюшне топталось несколько лошадей, хрустело сено, звякала уздечка.

Ставров тихо постучал в дверь бывшей прислуги, ему не ответили. Он стукнул сильнее и услышал эхо внутри дома. На втором этаже погасили свет. Торопливые, но осторожные шаги забарабанили по лестнице. Человек, сошедший с верхнего этажа, близко к дверям не подошел, спросил на расстоянии:

— Кто там?

Ставров выжидал секунду, пытался вспомнить услышанный голос, не походивший на голос прежних обитателей этого дома — Лысовых.

— Хозяева дома? — негромко спросил Ставров.

— Зачем вам? Представьтесь.

— Я их сосед, Ставров. Наше поместье недалеко отсюда.

— Платон, ты? — раздалось из-за двери дружески теплое.

Дверь распахнулась, в фигуре и ужимках «привратника» Ставров узнал еще одного соседа, своего ровесника Витьку Захарченко-Шульц.

— Ты с фронта? Какие вести? — обнял его Витька.

— погоди, дай обогреться, все расскажу.

— А я, брат, еще в октябре бежал. всю революцию наш Елизаветградский полк держался, дисциплина, уставы — все соблюдались, но теперь... — жаловался Витька, пока они поднимались по лестнице. Там же, с лестницы, Витька прокричал:

— Все в порядке, гостя веду!

Они отворили дверь в комнату, и там уже снова зажигали лампу. Народу было десятка полтора, но Ставров после долгого блуждания в темноте никого не узнавал. Его обнимали, трясли за руку и за плечи, незнакомая девушка трогательно поцеловала в лоб, потом с него стащили пальто, усадили к натопленной кафельной стенке.

— Ну, Платон? Говори же! Откуда ты? Что видел? Как уцелел? Чаю ему...

Ставров оторвал руки от теплого кафеля, вцепился в серебряный подстаканник. Начал рассказывать, узнавать окружившие его лица. Мещерские, Верховские, Хованские... Древние помещичьи рода, служившие первым московским царям. Все соседи, знакомые с детства, в основном молодежь, в некоторых семьях Ставров с родителями гостил неделями. Вон в ту девушку он даже был влюблен

одно лето, и она, кажется, его любила, они были юны, что делать с высокими своими чувствами не знали, как объяснить их — тоже... Целый мир, рухнувший в одночасье.

Не вдаваясь в детали, он передал, как выжил в столичном перевороте, как месяц добирался сюда. Его не перебивали, но едва он закончил, стали делиться своим, загомонили все разом:

— Да-да, на дорогах такой ужас, — выпалила Цахурская. — Мы с маменькой тоже ехали сто верст целых две недели.

— Я сорвал погоны, вместе со всем полком, наплевал на царя и Временных... А они все равно волками смотрят. Ну, что вам, спрашиваю. Крест с себя сорвать? От крови своей отказать?..

Ставров поймал глазами хозяина этого дома.

— Где родители, Сергей?

— Поехали к югу. Может, на Дон, а может, в Крым — куда удастся. Я остался приглядывать за домом, — ответил молодой Лысов.

Ставрову снова докладывали местные страсти:

— Ты знаешь, Платон, сгорели Наровчатские, Старовойтовы...

— Нам не просто жгут, нас убивают. Режут косами, бьют дубинами, как кроликов.

Ставров чувствовал разливавшийся по телу жар от кафельной стенки, чая и ненависти:

— Вас режут, потому что вы ведете себя, как кролики.

Все на минуту оторопели, но тут же загомонили опять:

— Мы ведь и собрались, чтобы обсудить...

— Ведь Сережкина двоюродная сестра вернулась с фронта! На днях она сколотила в соседнем уезде из отчаянных молодых отряд. Они поскакали верхом по уезду, запылали деревни самых яростных поджигателей. Мария Владиславовна мстит за порушенный очаг.

Ставров слышал о Марии, она была одной из немногих попавших в войска до того, как Бочкарева принялась сколачивать воинские батальоны из женщин. Ее муж умер от ран в самом начале войны на руках Марии, а через три дня после похорон она родила дочь. Именно тогда эту женщину впервые переполнила месть, Мария хлопотала перед императрицей и добилась Высочайшего разрешения занять место выбывшего мужа в гусарском строю. Оставив новорожденную дочь на мамок и нянек, она в начале девятьсот пятнадцатого была на фронте. Верховой ездой Мария владела с детства, в полку ее обучили обращаться с оружием. Она действительно ходила в рейды и разведки, порубила и взяла в плен немало врагов, и ее Георгиевские кресты были не придуманы на бумаге, а добыты в бою.

— У ее родителей разорили имение и конный завод.

— Она организовала «Союз спасения», — сыпались на Ставрова фразы.

— Женщина берет поводья в свои руки, когда кругом нее бессильные мужчины, — не боясь обидеть друзей, закипал Ставров. — И у нас будет так? Будем ждать небесную воительницу, Орлеанскую Деву?

— Нет, Платон, мы готовы выступить! Нам есть за что мстить! У нас тоже фронтовики, люди с оружием и отвагой. Поведешь нас?

— И вы думаете, что сможете одолеть деревню? — взглянул на них Ставров, в нем еще оставался холодный расчет.

— Деревня тоже расколота, Платон! — заговорил Лысов-младший. — Знаешь, как было в соседней волости? Там в одной деревне поп — пьяница, вымогатель, паскудник. Деревня собралась и повесила его на царских воротах, дом ограбили и сожгли, попадью и старших дочек изнасиловали, сыновей у порога казнили. Как-то поп, таков и приход! Взбаламученная деревня пошла к соседям проделать то

же самое. Но в соседнем приходе веру чтут, вышли навстречу с дрекольем, хотя местный батюшка их от этого удерживал, кричал: «Остановитесь! Отдайте меня на закланье — спасетесь!» Ему ответили: «Нет, честный отче, вот когда тебя казнителям отдадим, тогда и погибнем». Передрались на околице две деревни до полусмерти.

— Нас много, Платон. С фронтов и дальних гарнизонов продолжают ехать офицеры, наши братья. Мы отомстим за пролитую кровь отцов, за дедовы фамильные вотчины.

— У Марии Вячеславовны отряд маленький, но очень боеспособный. Крестьянина не надо покорять, его нужно запугать. Прокатимся огнем и мечом по волости, пустим огненный вал, вмиг присмирят.

— Оружие есть? — хладнокровно спросил Ставров.

Окружение обнадеженно заулыбалось:

— Ты знаешь коллекцию моего отца, — напомнил Лысов-младший.

— И у моего папаши арсенал собран.

В оконных стеклах выползло багровое зарево. Часть людей кинулась к окнам, глядяваясь в горизонт. Девичий голос промолвил:

— Платон, кажется, это у вас...

Ставров увидел нарастающий оранжевый отсвет. Он плясал по низким снежным тучам, красил верхушки елового бора.

— Лошадь мне найдется? — поменявшимся голосом выпалил Ставров.

В комнате все смешалось: двигали мебель и доставали из тайника оружие, с него срывали холсты, немедля заряжали, летели распоряжения. Уже сыпалась по ступеням частая брань шагов, не таясь вспыхнул на дворе уличный фонарь, в его свете танцевали застоявшиеся лошади.

Ставров сунул в карман снаряженный револьвер, через минуту в ушах его пронзительно завыл ветер. Их небольшой отряд летел в крошечной тьме и снежном вихре. Чья-то лошадь полетела через голову вместе со всадником, Ставров не обернулся, не отдал никакого распоряжения, не проследил — остался ли кто-то помогать разбившемуся бедолаге. Впереди маячило набиравшее силу полымя, летел к небу вихрь дыма, искр и копоти. Столетнее семейное убранство... Последний приют, былая гордость и достоинство...

Показалась с младенчества знакомая кованная решетчатая ограда, массивные кирпичные столбы въездных ворот. Раньше деревенские мальчишки бежали на звук колокольцев барской тройки, ехавшей с города, торопились украсть у дворника Порфирия его работу, распахнуть перед тройкой створки ворот. За это отец Ставрова щедро сыпал на ходу пригоршни баранок и кренделей, а сам Платон хотел детским невинным смехом... Дети всегда вырастают...

Свет пожара плясал по ковке забора, столбам ограды и воротам, еще уцелевшим стенам каретника, летнего флигеля и прочих служб. Во дворе сновали бабы в платках, дезертиры в шинелях, их отцы в тулупах и совсем немного ребятишек. В сторонку сносили ворохи мужского и женского платья, мебель, посуду, инструменты и прочий скарб. Предстоял грандиозный дележ. Погромщики запалили старую ель, росшую против парадного входа. По легенде, ее высадил прадед в тот день, когда родился дед Платона Ставрова. Сколько себя помнил Ставров, ее каждый год наряжали дней за десять до Рождества. И сейчас, едва подожженная, она разгоралась, унося за собою выпиленных из картона ангелков. Лопались от огня стеклянные шары и шишки, сыпались в снег бусы с перегоревшими нитками, вспыхивали фанерные снежинки. На макушке, как и раньше, сияла огромная Вифлеемская звезда, со свечой внутри. Порфирий каждый раз приставлял к ели длинную лестницу, чтобы взгромоздить звезду на место и зажигал свечу в Святой вечер.

Ставров выхватил револьвер, на скаку как молотком гвоздил оружием в любую встречную голову. Товарищи его стреляли во всех, не разбирая возраста и пола. Погромщики разбежались по задворкам, вопил бывший фронтовик: «В ружье-о-о!» Баба верещала благим матом, раненная и напуганная, другая, не видя ничего, голосила над убитым сынишкой. Ставров все еще гнался, настигал, достреливал. Из рук его норовила выскользнуть мокрая от крови и мозгов пистолетная ручка.

Далеко за пределами поместья бывший юнкер нагнал запыхавшегося мужика. — Барин... прости... — рухнул мужик на колени.

Ставров узнал в голосе и пожилой фигуре дворника Порфирия, сморщил лицо, отшвырнул оружие в снег.

— За что, Порфирий? За что?

— Барин... Платон Лександрыч... Вы ж знаете... Верой-правдой... С малых лет... У меня и отец, и дед вашей фамилии служили... Погорельцам вы всегда помогали... Опять же школу для детишков наших... Я и нынче... Христом-богом их заклинал!.. Ну пощадите, говорю, хоть барина с барыней! Им-то за что погибать?.. Не послушали меня... Спалили...

За спиной Ставрова заскрипел суставами постаревший дом, выдохнул предсмертной мукой, и все в нем обрушилось, пустив прощальный салют из миллиона искр. Зарево сразу поухло, сюда, где стояли Ставров и Порфирий, почти не долетало. В деревне остервенело лаяли собаки, грохали один за одним выстрелы, фронтовики сбегались снова с подаренными войной винтовками.

Ставров поднял глаза к небу. Китовье брюхо опустело, звезд на нем было совсем не так, как в детстве.

ГЛАВА VI

Поток людской значительно схлынул, но молодожены Хвостовы продолжали жить вдаль от дорог. Местечко было тихое, уютное, войной почти не задетое. Еще оставался крохотный гарнизон, разбежавшийся на восемьдесят процентов. Петр и Виктория сняли комнату в чистеньком и аккуратном домишке, питались вместе с хозяевами, продуктов хватало вволю, и полковые деньги, разделенные при самороспуске полка, еще у Хвостовых не кончились.

В прелестном особняке помещалось управление бывшей воинской части, но с упорной завистью на этот особняк поглядывали люди из солдатского комитета, размещенного в домике поплосше. Хозяева особняка, офицеры, штабисты и охрана, держались слаженно, неокрепшую молодую власть всячески задирали. Над колодцем во дворе особняка висел красноречивый лозунг: «Пролетарии всех стран, собирайтесь на мой кран!». Люди из комитета, приходя за водой, вежливо просили разрешения набрать ее. Обитатели особняка еще держали марку и авторитет, с молодоженами Хвостовыми — дружили.

Бывшие продовольственные склады теперь были завалены велосипедами, мотоциклами, пулеметными лентами и ящиками гранат. Железные окопные печи валялись рядом с горами противогазов и запчастями к аэропланам, дожидались новых хозяев. Австрийцы наступать не спешили, по слухам, боялись «большевистской заразы», способной перекинуться на солдат, как только они перейдут пустую линию фронта.

Исхудавших лошадей русское начальство распродало местным крестьянам по смешным ценам, потому что от бескормицы начался падеж. В долине реки из-под тонкого снега торчали целые угодья сухой травы, но солдатам было лень ее добывать, и бывшая армейская лошадь уходила хлеборобу за десять копеек.

Петру и Виктории оставалось коротать осенние вялые дни у теплой печ-

ной стены, по-местному прозванной «коминком». В особняке была недурная библиотека, и штабисты искренне радовались, когда молодожены находили в ней книги по душе. Потом грязь стянуло морозом, а лужи пронзили стрелчатые тонкие льдистые иглы. Хвостовы целыми днями гуляли в окрестных лугах и рощах. Однажды они встретили бывшего штабиста и его верного денщика, не уехавшего домой, хотя и был тот дом вроде всего в сотне верст отсюда. Денщик с запорожскими усами вслух проклинал революцию, и плакат над колодцем был его творением. В этот раз он нацепил огромный алый бант на репицу своей кобыле. Виктория захохотала, указав мужу на денщикову шалость. Петр спросил его:

— Это зачем?

— Нехай радуется, — без улыбки ответил упрямый запорожец. — Всяка скотина тепер робить, що хоче! Так і я їй начепив свободу туди, де у рака очі!

И тронув кобылу поводьями, денщик поспешил догонять своего уехавшего вперед офицера. Вдали маячили черно-белые, укрытые тонким снегом поля, замершие мельничные крылья на косогоре, одноглавая зеленая маковка крохотной церкви.

В другой раз Петр и Виктория дошли к местечку и возле синагоги встретили толпу мальчишек. Они налетели на конного ординарца, на бегу предлагали:

— Господин офицер, хотите сладости? Есть блондинки, брюнетки, полные, худые, русские, украинки, еврейки, польки! Очень дешево!

Тот ехал молча, аккуратно направляя лошадь, чтоб не задеть ребенка. Наследие войны никуда не девалось, народ привык жить местным промыслом долгих три года. Один прворный малец ухватил стремя, прижался щекой к сапогу, громко прошептал:

— Есть девочка двенадцати лет, очень развратная.

Офицер дал лошади шенкеля, лошадь рванула, мальчишка свалился почти под копыта.

Даже в эту глухомань иногда приходили газеты с большой земли. Петра встретил на улице местный крестьянин, протянул ему московский «Сигналь» от 13-го ноября с крупным заголовком:

«Россией управляет сумасшедший! Мы требуем освидетельствования умственных способностей “самодержца” Ленина!»

Петр быстро пробежал глазами текст:

«Представители армейского комитета Юго-Западного фронта после беседы с Лениным решили, что они разговаривают с сумасшедшим. Спасайте от него Россию! Дайте ему вместо порфиры — горячительную рубашку! Иначе он погубит нас, окончательно погубит!»

Хвостов протянул газету обратно:

— Как-то размыто все... Ничего непонятно. Почему именно Ленин погубит нас?

Крестьянин сочувственно покивал, но сказал совсем о другом:

— Неужели немцу нас отдадите? Говорят, что мы больше не российские... Ну да, хохлы мы, и говор у нас другой. Но чего ж Россия от нас отказывается? Ведь мы ж ей верные были, жили столько вместе...

Петр грустно улыбнулся:

— Не все так однозначно. Вон в Киеве считают, что мы должны дать свободу Украине, ведь она так долго к ней шла, со времен Хмельницкого.

— Свобода? А что мне делать с этой свободой? Зачем мне свобода, если я ею владеть не умею? Они говорят... Эти, что в Киеве... Но защитят они меня без России? Смогут?

К ним подбежал крестьянин, наверное, подслушавший со стороны, ткнул в газету пальцем:

— Лучшее немец, чем большевик!

Земледельцы заспорили, а Петр пошел дальше.

Виктория все чаще отказывалась от прогулок, сидела у окна, закутавшись в темное покрывало, но в само окно не глядела. Иногда доставала вязание, хотя и оно отвлекало ее ненадолго. Она замирала со спицами в руках, проезжая глазами стены. Петр заставлял ее такой, пытался угадать, о чем она думала, и не мог понять, что ему делать: оставить в покое или вытащить из сомнамбулической дремы.

А жена его уносила мыслями к дому. Ее тянуло в родное жилище, в город, где прошла вся ее жизнь, к людям с умными, интересными лицами и местам, от которых идет мороз по коже и чувствуешь — этот город вылеплен властной рукой, в таком месте, где городу не полагается быть. Виктории до смерти надоело захолустье, ей хотелось обратно, под теплое родительское крыло.

Вместе с ее желанием всплывало горькое прошлое. Год назад, в эти самые декабрьские дни, она поняла, что жизнь ее не будет прежней. Она впервые крепко рассорилась с отцом, взглянула по-новому на мать, всегда защищавшую ее — Вику, а теперь вдруг вставшую на сторону отца. Да и это было не главное. Двенадцать месяцев назад она впервые разочаровалась в любви. Петр не вспоминал ей того первого ее избранника, как никогда не вспоминал и о Новикове, но он, несомненно, знал о нем, ведь у Виктории с ним отношения были гораздо продолжительней и официальной, а Новиков был так, скорее от скуки или для заполнения пустого места. Они расстались по его просьбе, и Вика долго не могла в это поверить. Она ходила сама не своя, стала раздражительной, чаще цапалась с отцом.

Настала ночь, самая жуткая ночь в ее жизни. Она достала крысиного яду, долго ходила по темной комнате, слышала, как допоздна Феня гремела перемываемой посудой на кухне, как цокали по заледенелой мостовой копыта и извозчичы санки, как звякнул на углу последний трамвай. Вика маялась всю ночь, не раздевшись, металась по кровати, ходила от окна к шкафу и от двери к столу. До яда она так и не дотронулась. В ранних предутренних сумерках Вика выбралась из дому, бесцельно стала бродить по городу, взошла на Петров мост, ухватившись за перила, уставилась на припорошенный снегом лед.

Солнце еще не взошло, и на замерзшей реке нельзя было различить следов и пятен, река была цельной, основательной и мертвой. Равно как и сковавший ее лед. Только в одном месте он был прожжен полыньей — белоснежный лист бумаги, продырявленный круглым тлеющим окурком. Она медленно пошла вдоль мостового ограждения, перебирая по нему руками, потом ступала все чаще, почти побежала, почти оторвала руки от перил... Теперь полынья была прямо под ней. Что сложного? Наклони голову вперед, оттолкнись ногами — и вот он, полет. Свободный, недолгий и вечный.

Виктория легла животом на перила, наклонила голову... Она всмотрелась в полынью, рядом с ней лежал темный предмет. Мрак вокруг проруби таял, стала видна оброненная галоша. Лаковая, блестящая, с алой, мясного цвета, подкладкой. Снег вокруг полыньи был истоптан. Вика почуяла набежавшую тошноту, зажала рукой рот и отпрыгнула назад. Она свалилась на спину, со страхом стала отползать подалее от ограждения, зачерпнула на обочине горсть не примятого снега, сыпанула им себе в лицо, потом еще и еще растерла снег по щекам, глазам и лбу. Растаявшая влага омочила губы, стянула пелену с глаз, Вика неожиданно для самой себя дико и долго крикнула.

Через пару дней из газет она узнала, чья это была галоша...

Встречать Рождество молодоженов Хвостовых позвали в особняк. Там раздобыли елку, нашли в кладовке украшения, нарядили сосновыми ветками прием-

ную и праздночную залу, накрыли стол. Сели за него все вместе — кто уцелел, кого не унесло потоком самороспуска: офицеры и рядовые. Виктория успела приготовить всем по маленькому подарку — крохотной вязанной салфетке. Офицеры склонялись над ее руками, целовали их, кто-то в ответ преподнес флакон «Л'ориган Коти» из довоенных запасов. Солдаты в ответ на подарки украдкой смахивали слезу, торопливо благодарили: «Спасибо, сестрица...»

Один солдат сразу предался воспоминаниям:

— Эх, в прошлые годы как праздновали... Пост до первой звезды в этот день не держали, кашами наедались: кутья, сарацинское пшено, чечевица — у нас дома ее сочевицей зовут или просто — сочиво. Оттого и Сочельник, должно быть?

— А молебен помнишь? — подхватывал офицер. — В честь изгнания наполеоновских войск.

— Молебен и смотр — железно, — соглашался солдат. — Молебен звался «Пение о избавлении Церкви и Державы Российской от нашествия галлов и с ними двенадцати языков». А на Рождество уже и скромное нам на столы ставили, мясо заранее интендант закупал.

— В Сочельник, бывало, и живого телка на позицию пригоняли, забивали, с вечера готовили. Чарочка — обязательно. Сто двадцать два грамма, как одна капелька, — смаковал другой солдат, видимо, служивший в интендантстве.

Про войну тоже не забывали, тешили ее, поминая в своих разговорах:

— Вчера около Пуклякова вышли парламентареры-австрийцы и заявили нашим, чтобы солдаты не выходили за проволочные ограждения — будут стрелять. Завтра официально кончат перемирия.

— Станем ли продлевать?

— Конечно. Если не продлить — значит, снова война, а окопы на три четверти пусты.

Хлопнула по столу местная газета с перепечатанной картинкой из «Нью-Йорк Таймс»: малые дети в ночных рубашонках стоят на коленях перед рождественским венком из ели, молитвенно сложили руки в просьбе: «Господи, сделай так, чтобы Санту не призвали в армию».

— Теперь и за океаном почувствуют дыхание большой войны, — злорадно заметил один из офицеров.

Над столом висели самодельные люстры — колесные ободья с воткнутыми штычками, а в их хомутики вставлялись свечи. Над каминной полкой были выложенные из сосновых веток две цифры: роковое число уходящего года и номер больше не существующего разогнанного полка. Виктория была приветлива со всеми, не глядя на лица и отмененные чины. Петр считал выпитые ею бокалы, про себя думал: «А ведь она не беременна... Я ошибался. Отчего же нет теперь между нами близости?..»

Петр видел, что жена холодеет к нему день ото дня, и не мог вспомнить момента, когда это началось. Дома он давно уже не слышал такого зазорного смеха, как нынче, ласковой ее беседы. Он больше не трогал ее в постели из-за того, что думал, будто теперь это нельзя, и еще потому, что она тоже не требовала близости. Ему оставалось вспоминать круглые, словно обведенные циркулем, груди, капли прозрачного пота на ее плоском животе, крохотную круглую впадинку на нем, доставшуюся каждому человеку от матери в наследство. Лишь первородные Адам и Ева не имели этой впадинки. От нее тянется живительная нить, питает нас материнским соком все девять месяцев. «Кто же перерезал нить, связавшую ее и меня?.. — думал он охмелевшей головой. — Она?.. Я?..»

Сидели почти до рассвета, вспоминали под треск свечей в самодельных люстрах.

На следующий день Виктория заявила, что больше не может здесь оставаться:

слухи шли все тревожнее, и она переживала за оставленных родителей. Хвостов слабо возразил:

— Милая, подумай, как это будет. Мы с тобой даже отсюда не в силах выбрать-ся, я не думаю, что все пути на Петроград открыты, стоит лишь взять билет.

— Я и без тебя знаю, что никаких билетов, касс и поездов в привычном для нас виде больше не существует. Но я не могу ждать, когда это все вновь появится! Я хочу ехать к родителям и поеду!

Петр уныло склонил голову:

— Раньше ты никогда не кричала...

— Можешь радоваться, теперь это будет часто.

Она мигом изменила тон, заговорила доверчиво, почти умоляюще:

— Петя, деньги кончаются, времена и власти наступают непонятные. Что мы будем делать в этой глуши без средств? Надо ехать, Петя... Мы с тобою так юны, мы совсем не предназначены для самостоятельной жизни. Я хочу увидеть родителей, хочу просто на них посмотреть, это поможет мне, придаст новых сил.

Хвостов помолчал, покивал головой, мрачно выдавил:

— Хорошо, давай собираться...

Поток схлынул, но о пустых поездах не приходилось мечтать. На перроне стояла торговка, из солдатского вагона ей крикнули:

— Далеко едешь?

— А куда подвезут.

— Билет проездной имеешь?

— Это всегда со мной.

— Попользоваться дашь?

— А чего же, не убудет.

— Подсади ее, братцы, прокатим.

Из другого вагона, холостяцкого, неслись сальные усмешки:

— Не езжай с ними, баба, обманут. Высадят досрочно, да еще и с тебя все ценное сымут.

— Не гавкай там... или завидки берут? — огрызались те, что посадили в вагон торговку.

Со второго вагона не отвечали, кинулись делиться опытом:

— Я одну встретил, у ей в роте на крепком клею бриллианты к щеке приклеены, так, шепелявая, и провезла.

— Их сейчас тьмушей валит. Одна «ах-ах», а сама хуже вора, вся захованная. Места на ней порожнего нет, до чего вещей упхано; одно дело — грушей трясти, — сыпанет с нее на землю золотце.

— И нашему Ваньке попалась одна. У меня, говорит, конечно, спрятанные вещи. Я вас за это полюблю, а вы пропустите. Он ей: «С нашим удовольствием», а потом все и отнял.

У Петра кружилась голова от гремевших историй. Он понимал, что в этой дорожной стихии никакой защитой для Виктории быть не сможет.

Вагонный состав был пестрый, разномастный: пульманы, спальные, открытые платформы, простые теплушки. Хвостов рассмотрел надпись черной краской на стенке третьеклассного вагона:

Настала смута в государстве,
Февраля сменился октябрем,
Возьми гитару, спой про счастье,
Пусть воет ветер за окном.

Указав на этот вагон, Петр увлек жену за собой:

— Пойдем туда, я думаю, нам повезет.

Им и вправду подали руку изнутри, потеснились, поделились местом.

Ехали медленно, с проволочками, частыми и длинными остановками. То и дело проходил вдоль замершего поезда помощник машиниста, бросал клич всем мужчинам, чтоб шли чистить рельсы от снега или в ближайшую рощу — за дровами. Через день остановились в крупном городе, из вагона спросили:

— Где это мы?

— Житомир, — ответили картаво с перрона.

— Жидо-мир? Видно, видно.

В вагоне заспорили:

— Не слышали, куда дальше идем? На Киев?

— Да какой к черту Киев, на север сворачиваем.

— Ах, как неудобно, мне ведь в Киев надо.

— Так слезайте, пока не поздно, ищите другой поезд.

— Мой вам совет — не слезайте, поезд в Киев идет.

— Ну, чего ты лезешь, если не знаешь? Сказано: на Коростень сворачиваем.

— Да как же быть-то?..

Поезд на редкость мало стоял, лязгнули буфера как прощальный поцелуй провожающих с отъезжающими. Житный город с прилавками, заваленными домашней колбасой и круглой украинской «паляныцей», уплывал за окном. Мелькнули крайние его дома, в вагоне, наконец разобравшись, сказали:

— На север едем.

— Слава Богу не в Совдепию, — припечатали сверху.

Поезд забирался в густые Полесские дебри, дорогу все чаще обступали заваленные снегами леса. Солнечная приветливая Украина тут заканчивалась. Из древлянских зарослей угрюмо выглядывали одинокие затерянные поселения, избы, домишки железнодорожников. Люди тоже стали другие: мрачные, настоженные своей дремучей жизнью или последними событиями, местный говор их отличался от малоросского.

Виктория тесно прижималась к мужу, с другого бока ее давила огромная корзина с живым гусем. Баба, везшая корзину, вполголоса жаловалась:

— Нет, в Коростене я своего гусака не продам. Вот в Киеве, слышать, голодно, там с руками оторвут. Эх, зря только проезжаю.

Чернявый малый напротив нее пристально посмотрел в пытливым глаз гусака, поправил студенческую фуражку, произнес:

— Нельзя говорить «сидю», а отчего нельзя — никому неизвестно.

Петра подпирал низкорослый иудей с широким лбом. Голова его вращалась на короткой шее, поблескивали круглые стекла очков, надежно сидевших на вздернутом носу, с губ не сходила любезно-блаженная полуулыбка.

За стенкой разговаривала женщина:

— Все наперекосяк. У моей подруги неделю назад сын родился, дали хорошее наследственное имя — Август. Пошли они в местную раду за документом, им выдали свидетельство, и в нем их сын записан Сэрпнем. Как вам это нравится? Сэрпень фон Гаккель.

Поезд стал резко сбавлять ход, перед окном мелькнули размытые изморозью стекла фигуры, верховые и пешие. Захлопали тамбурные двери, гацнул приклад в стенку вагона, для острастки и настроения грохнули вдоль растянутого эшелона несколько выстрелов. Все стало ясно, и все же по вагону полетело придушенное и тревожное: «Прячьте вещи».

От тамбурных дверей поднялся гомон, но его быстро приглушил покрывший всех и вся властный голос:

— Граждане пассажиры! Просим не беспокоиться! Кто не будет кричать, прятать и укрывать, уедет отсюда свободно. Для того мы свободу на фронте и добыва-

ли, чтоб вы ездили теперь без опаски. А безопасность мы вам гарантируем. Просто надо заплатить за проезд.

За все время, пока поезд замедлялся, останавливался и впускал новых гостей, Петр не пошевелился, держал руки, как прежде — в карманах бекеши. Виктория тревожно взглядывала на него, молчаливо спрашивала, что делать, он на жену не смотрел, хоть и чувствовал ее тревогу.

К их плацкартному месту продрались сквозь толпу пассажиров двое: дубленые полушубки, черной шерсти папахи, бороды до глаз, два вороненных ствола и цокавшие друг об друга гранаты на поясе. Похожие, как близнецы, но у одного была на глазу черная повязка с обтрепанными краями. Корзина вместе с гаркнувшим гусем перекочевала в их руки, у малого в студенческой тужурке нашлись царские грошки, остальные тоже лазили по карманам, выкладывали что у кого есть. На одного из пассажиров указал одноглазый:

— Скажи «кукуруза».

Пассажир замялся, недоуменно поднял брови:

— А в чем, собственно дело, господа?

— Давай, тошнотик, не доводи до греха.

— Я ногмальный пассажиг, такой же, как и все остальные...

— Эээ, дотявкался, картавый. На выход его.

Подходила очередь сидевшего подле Петра иудея. Одноглазый ткнул пальцем в свою заскорузлую ладонь:

— Документ об это место.

Пассажир региво завозился, шаря в карманах пальто, настырная полуулыбка все не могла спрыгнуть с его виноватого лица. Напарник одноглазого пошутил:

— На черта тебе документы? И так видно — русский, хучь в рабины отдавай.

Одноглазый выдернул пассажира в очках с лавки, стукнул ребром ладони по затылку:

— Анклойф, Хаим³.

Иудей вздрогнул, шея его, и без того короткая, уползла в воротник.

Петр почувствовал, как стало свободней, и он теперь мог шевельнуть локтями.

«Этих двоих, допустим, я пристрелю через карман, высажу окно в вагоне, а что дальше? Даже если успею выбросить Вику и выпрыгну сам, нам не добежать до леса, да и там не укрыться — они на конях. Подстрелят меня, добивать не будут, пока не завершат всех дел с нею, на моих глазах...»

— Эй, ваше благородие, руки из карманов-то вынь. Отдавай игрушку, которую прячешь.

— У меня там нет ничего, — холодно ответил Хвостов.

— Покажи руки, — повысил голос напарник одноглазого, — и курве своей скажи, чтоб уши от серег освободила, пока я их не отрезал.

Виктория трясущимися руками стала вынимать сережки, палец Петра замер на курке, не в силах шевельнуться. Одноглазый внезапно буркнул:

— Оставь ее.

— Чего? — не понял его напарник.

— Меня одна милосердная от смерти спасла.

— Так не эта же! — возмутился подельник и ткнул оружием в Викторию.

— Все одно... У этой лик ангельский, не трожь их. И офицерику оставь...

Напарник одноглазого выругался и сплюнул. Они пошли дальше под тревожный гогот реквизированного гуся, толкая впереди господина, так и не пожелавшего вслух сказать «кукуруза», и второго, в очках, не успевшего найти документы.

В толпе ограбленных тихо переговаривались:

³ Беги, Хаим (евр.)

— Интересно, а что в солдатском вагоне? Их тоже попросят снять кольца и вернуть мешки?

— Ага, держи карман шире, и связываться не станут.

— Отчего же солдаты не вступятся за нас, не разделаются с этой сволочью?

— Оно им надо? Нашла робингулов. Их не трогают — и ладно.

Поезд простоял не дольше, чем на вокзале в житном городе. Поплыли мимо одетые в зиму деревья, лошади с заиндевельми гривами, наваленное на сани добро, выстроенные в ряд подозрительные — человек пятнадцать, дым перегоревшего пороха от грохнувшего залпа.

В Коростене поезд все же свернул на восток, разоренную бабу, кажется, это не радовало. Виктория молчала больше суток, в один миг коротко и тихо поплакала, затем сама предложила мужу:

— Давай задержимся ненадолго в Киеве, погостим у бабушки.

— Конечно, ты все правильно рассчитала. Я верю: безобразие на дорогах продержится недолго. Только станет безопаснее, и мы тут же направимся в Питер, вот увидишь, осталось еще немного подождать.

Старушка встретила их с радушием. Кажется, она больше радовалась прибытию Петра, чем родной внучатой племянницы.

— Время настало, страшно в булочную выйти, — горевала она. — Говорят, под самым городом наши гимназисты остановили большевиков. Что дальше будет...

Петр ставил под вешалку саквояж и чемоданы, помогал Виктории снять верхнее платье, прятал глаза от нее и от бабушки: «Бедная старушка, она думает обрести в моем лице защитника».

Виктория заговорила с бабушкой:

— Вы не видели, что творится за городом. У вас хоть за офицерскую бекешу на улицах не расстреливают.

— Да что ты, детка, пугаешь меня. Где же видано, чтоб за одежду убивали?

— В бывшей Российской империи, милая бабушка. У нас теперь стреляют за холеные руки, за белую кость и голубую кровь. Нас с Пьером уберегла только случайность и чудо.

— Ах, как хорошо, что вы приехали, — будто не слышала бабушка последних Викиных слов. — Петя, милый, сбегай в сарайчик за дровами, а то я принесу немножко и экономно...

Хвостов, не успевший снять бекешу, снова стал запахивать ее.

— Да и перенести бы их из сарая в веранду, она хотя бы закрывается, — наставляла бабушка. — А то, я слышала, дрова скоро будут в редкость, обворуют нас. Ты разгребь там на веранде, ненужное в сарайчик вынеси, освободи под дрова местечка побольше.

Через два дня Виктория с бабушкой накрывали праздничный стол. Петр чуть ли не на последние средства скупил все, что они заказали, уложил перед печкой охапку дров, заправил все лампы в доме, подмел дорожки от свежевыпавшего снега, спросил, нужно ли что-то еще. Бабушка отпустила его. С Викторией он по-прежнему говорил все реже и реже, а обширный бабушкин дом позволял ему теперь даже спать в отдельной от жены комнате. Он опять отправился бродить по городу, как делал это в прежние два дня.

Ему вспомнилось, как в конце их с женой медового месяца они вышли из ресторана и увидели аллею, засаженную молодыми каштанами. У подножья каштанов вырастали небольшие известковые кубики с оттисками ладоней и датами. Петр спросил у ресторанного служащего, что это такое? Ему ответили: памятные камни прежних молодоженов, отметивших свои свадьбы в этом ресторане. Виктория тут же пожелала, чтоб и у них был такой же памятный камень, и не важно, что свадьбы их была не здесь, а в совершенно другом городе. Петр пошел и договорил-

ся. Им быстро приготовили жидкий известковый куб, заключенный в деревянную опалубку, дали по одной прорезиненной перчатке. Свинцовыми буквами, какие использовались в наборах печатников, выложили надпись: «Петр и Виктория 28.08.1917 г.»

Хвостов бежал, ехал на трамвае, спрашивал дорогу у прохожих, название ресторана он запомнил тогда. Мало кто знал этот обычный ресторанчик, затерянный в огромном городе. Уже под вечер Петр отыскал его. Он без ошибки подошел к припорошенному снегом кубу, сделал два небрежных движения. Открылись их имена, два пятипалых отпечатка. В продавленных руках углубленных застыла пыль вперемежку с грязным снегом, мелкий сор и окурок папиросы.

Под свинцовой датой рождения их семьи Петр прорисовал в снегу ответную дату: «31.12.1917».

К началу темноты он не появился, не появился и к ужину. Бабушка беспокоилась сначала вполголоса, с каждым часом прибавляя тревоги.

Виктория ринулась к вешалке, бабушка только теперь зажала рот, через секунду вновь его распахнув:

— Деточка, заклинаю — не ходи! Давай попросим соседей. У них сын бывший городской, целый год прослужил до революции. Может, он найдет, может, отыщется Петя.

Вика молча одевалась, когда была полностью снаряжена, сухо ответила:

— Бабушка, ни к каким соседям не ходите, никому не открывайте. Нас можете не ждать, вино откупорено, празднуйте.

— Ты в своем уме?! Какое «празднуйте»?! — сокрушалась ей вслед старушка.

Виктория несколько часов бесцельно бродила по городу. Она, конечно, не надеялась случайно отыскать мужа, но здесь ей было спокойнее, чем в теплом доме, из которого она ушла. Виктория остановилась на небольшой площади. Вокруг росли казенные здания и их огромные темные окна. Лишь в одном окне богатого дома светились огоньки рождественских свечей, гомонили сквозь стекла радостные голоса. Еще были в этом мире люди, способные веселиться и не бояться своего смеха.

Вика только сейчас поняла, насколько продрогла. Она уставилась на огоньки за окном, обхватила себя за плечи дрожащими руками. На ресницы ее упала первая новогодняя звезда из прозрачного льда. В комнате голоса утихли, и Виктория услышала удары собственного сердца. Они сливались с мягким бумом напольных часов. За стеклами считали вместе с часами:

— Девять!.. Десять!.. Одиннадцать!..

Окна дрогнули от разноголосого «Ура!», взорвалась пробка от шампанского, захлопали радостные ладоши.

На платок белой шерсти и выбившуюся из-под него каштановую прядь ложились новые снежинки. К Виктории подошел нищий в рваной куртке не по сезону и подвязанных веревкой ботинках:

— Одари, красавица, и я тебе в подарок такое дам, чего ты в своей жизни не получила.

Виктория полезла в карман, вытащила серебряную монету, безвольно сунула ее в руку нищему. Он низко склонился, коснувшись монетой земли.

— Снег прошлогодний дарю тебе, — сказал торжественно он. — Ведь никто не дарил, красавица? Гляди, он сыплется с неба, когда был еще старый год, а падает на нас в Новом.

Обрадованный милостыней и этим своим подарком больше, чем сама Виктория, он счастливый зашагал прочь. Она вслух проговорила, глядя во след нищему:

— Все бегут от меня, и Петр ушел с прошлогодним снегом.

Из азиатских пустынь подходили новые эшелоны нетерпеливых солдат. Под Шамхором вырос целый передвижной город из расшатанных вагонов, пеших колонн, телег, фурманок, людских и конских табунов. Никто не верил ни в какие переговоры. Валялись неубранные трупы, горели под откосами вагоны. В предательской и алчной подлости местных татар убедились, сдаваться им на милость не собирались. Ходили слухи, что несколько поездов с боем прорвались на север. По обеим сторонам дорожного полотна окопались и упорно огрызались огнем, если видели, что татары пытаются приблизиться для «переговоров».

Но договариваться все же пришлось, сели за трехсторонний «дипломатический» стол. Солдаты наотрез отказывались сдавать оружие, требовали, чтоб их и всех русских беженцев пропустили без учинения препятствий. Грузины, заварившие всю эту кашу и порядком от нее уставшие, желали без шума и ущерба для себя ее куда-нибудь слить, но им не позволяли этого мусульмане, пострадавшие от потерь и желавшие их восполнить хотя бы русским оружием, если не русской кровью. Компромисс в итоге нашли: мусульмане соглашались выпустить русских, за это грузины отдавали из Тифлисского арсенала артиллерийскую батарею.

Под Шамхором, наконец, протолкнулся комок — эшелоны стронулись. Грузины облегченно вытерли нервный пот, русская туча уносилась с их земли. Крупная заваруха была позади, но на всем пути, пока тянулись эшелоны от Тифлиса до Баку, русский караван преследовали и грабили, штурмовали, кусали, откальвали по крохе. Уходили, уползали, уносились, поминутно умываясь кровью.

Шноли одной рукой правил лошадьми, другой качал вопившего младенца, терпеливо приговаривал:

— Не ной, не ной, говорю тебе. Ной не ныл, и ты не ной.

Мать младенца, молодая баба, подобранная в сожженном молоканском хуторе, недвижно валялась на дне фурманки. Шноли иногда оборачивался к ней, присил сердито:

— Попробовала б еще, может, осталось чего?

— Пустая я, — равнодушно отвечала баба, не размыкая век.

Она осталась одна со всего поселения. Сутки пряталась в колодце, по пояс в воде, с младенцем на руках, пока подошел русский караван.

Фурманка день ото дня обрастала новыми жильцами. Вслед за приبلудившимся гражданским, они подобрали у дороги такую же бедную и ограбленную женщину, еще молодую и даже привлекательную в таких несимпатичных временах. На ней тоже осталось только исподнее, мужа убили на глазах.

— Сама-то цела? — напрямую спросил Остатнийгрош.

Она поняла вопрос, кивнула:

— Не тронули.

Ей, как и приبلудному гражданскому, достали шинель с трупа, укутали плечи, еще одной — обернули ноги.

Чуть согрившись, она смахнула с плеч шинель, попросила передать ей младенца. Шноли обернулся:

— А ты что, тоже мать?

— Нет, я еще не рожала. Дам ему хоть пустую, может, успокоится.

Ей передали кричащий комок, она ласково завозилась с ним, зашептала, принялась уговаривать. Младенец яростно вцепился в предложенное, зачмокал.

— Хех, обманула стервеца, — похвалил Остатнийгрош.

Щерба хотел спрыгнуть с фурманки, упереть ствол карабина себе в грудь и, если бы хватило сил, — дотянуться до курка. Он устал представлять, что будет с

младенцем, искалеченной его матерью, молодой и цветущей барышней, с ним самим. Он знал, что они даже не в середине пути...

Алексей безвольно занес ногу над краем фурманки, хотел себя пересадить. Мимо ехал казачина-кубанец, быть может, тот самый, что не так давно нес по лагерю ящик абхазских мандарин. Глянув на дивчину с младенцем, крутанул ус, на ходу предложил:

— Пойдешь за меня, солдатка?

Барышня глянула, быстро ответила ему в манеру:

— А нужна с приплодом-то?

— Любую возьму! Еще своих народим! — уже с расстояния несло к фурманке.

Мимо ехали такие же кубанцы, беззаботные и не раз сидевшие у черта на рогах, хвалились добытым в бою оружием, зубоскалили, заглядывались на молодку, «кормившую» ребенка.

Щерба с грохотом повалился на дно фурманки, затрясся в рыданиях. Дзюбан, подполз к нему:

— Алексей, чего ты?

— Я бесхребетная тварь... я проклятая слабая муха...

Остатнийгрош протянул фляжку с плескавшейся на дне чачей:

— Помешался парень.

Дзюбан поил Щербу из фляжки, Остатнийгрош ругался:

— Стыдно, Алеха. Хуже бабы. Вон молоканка помирает, и та не скулит.

— Хуже, господин фельдфебель, во сто раз хуже, — сипло выдал Щерба.

Путь от Тифлиса до Баку усеивали сошедшие с рельсов остовы догоравших вагонов. Зияли сквозь снег закоптелые железки, перевернутые кверху оси и колесные пары, обозначали скорбный русский путь, как в древности скелеты павших верблюдов и ослов. Отныне шли с боевым охранением и караулами, казаки в конном строю отступали по всем правилам. Опять ненадолго вспомнили дисциплину и воинское правило, убитое революцией. Сплачивались, жались друг к другу, огрызались на суровые горы, на их осатаневших жителей, привыкших видеть в русском господина. Теперь — слабого и беззащитного господина.

От Баку свернули на полночь, близился беспокойный Дагестан. Между Гори и Владикавказом хозяйничали осетины. Там местные царьки и их банды ловили любые автомобили, составляли из них парки, щеголяли коллекциями друг перед другом. Грозный держал осаду. В городе жили русские и немцы, поляки и понаехавшие за войну евреи, но не было чеченцев, и чеченцы хотели это исправить. Черкесы, загнанные казаками сотню лет назад в горы, спустились с них, напомнили казакам, чья эта земля. Ингуши и чеченцы готовились объединиться против терских казаков и осетин, хотели уничтожить насажденную царем череспосоциу, связать горную и долинную части своего края.

Кабардинец косо смотрел на балкарца, осетин на черкеса, ингуш и чеченец на осетина, и все вместе они недобро глядели на казака и русского, засевавшего в городе и на лучших плодородных землях. Из Закавказья доходили слухи о персидских и курдских погромах, мусульманской крови, лежавшей на руках русских распоясавшихся солдат. Местные народы видели беспомощность оплошавшей и наполовину разруженной армии. Горская, и без того кипучая, кровь вскипала с приближением отступающих эшелонов и пеших караванов.

В Дагестане с надеждой поглядывали на юг, ждали скорого появления турецкой армии. Из небытия выплыл соратник самого Шамиля — старик семидесяти лет, имам Чечни и Дагестана, эмир Северо-Кавказского эмирата, Узун-Ходжа. Он назвал себя преемником Шамиля и «пророком», объявил джихад всем немусульманам, населявшим Кавказ. В конце декабря запылали цветущие экономики и поместья немецких колонистов, казацкие селения и хутора.

Надвигался и этот неспокойный, клочковатый край.

В потускневшем взгляде Щербы на склоне белой горы плясали и резвились здешние народы. Вначале он принял их за детей, но потом рассмотрел газыри на их черкесках, ножи у пояса и ружья за плечами. Они лепили снежки, перебрасывались ими, махали на прощание русским и по-детски радовались этому редкому в их краю снегу. В Щербе надтреснуло что-то, был он самым беспомощным в их ковчеге. Молоканская баба через день встала на ноги, с жадностью птенца проглатывала пищу, кормила своего детеныша, и теперь с младенцем хлопот было меньше, чем с Алексеем. Он почти не ел, совсем не двигался и не говорил.

— А все равно близка русская земля, — все чаще повторял Остатнийгрош. — Даже пахнет теперь по-иному, зимой нашей, полями, в снег укрытыми.

С ним соглашались, принимали его настрой, на короткое время глядели уверенней.

Дзюбан оглядывал плясавшие в ночи зарницы пожарищ, вслух рассуждал:

— Теперь это надолго. В прошлую войну эти племена утихомиривали полстолетия. За это время выросли два поколения. Еще не родилась та нация, которая смогла бы их покорить. Даже во времена, когда не был так развит гуманизм и европейские пацифисты с корреспондентами не наводнили весь мир, как теперь, даже тогда Ермолову не удалось примирить этот народ, не то, что теперь.

Караван петлял, пытался миновать опасные дороги, жался к уцелевшим казачьим местностям. В станицах их встречали сердобольные казачки, делились с ограбленными беженцами одежкой, голод теперь отпустил глотки кочующих горемык. Пожилые казаки, сбитые в отряды самообороны, просили патронов к своим берданкам, зазывали в отряды:

— Обороните, братья! Пока сыны наши с немецкого фронта не вернулись. Самим, чуем, не отбиться. По двадцать пять суточных царскими будем платить, харч положим, как полагается.

Остатнийгрош заглянул в подворье одного старого казака, заметил толкшуюся между постройками отару.

— Что ж у тебя скотина по двору жметя? В хлева уже не влезаешь?

Казак замаялся:

— Да это я выпускаю, чтоб кровь она растревожила, чтоб не застоялась.

— Врешь, дядя. Овца-то, небось, краденая, из чеченского аула сведенная.

Казак рассвирепел:

— А ты как хотел бы? Он мою овцу крадет, моего сына под нож, мою невестку брюхатит, а я тихо сиди?!

С казаками оставались лишь единицы, остальные шли дальше, отвечали:

— А дома моих кто защитит? Там, поди, тоже резня началась. Татарва с башкирцем голову подняли. Поеду, покромсаю нерусь... Будто турецкой крови за три года не напился...

Остановились на ночь в небольшом казачьем хуторе. Отвесные уклоны гор испятнали оранжевые вспышки далеких нестрашных пожаров. С ними свыклись и уже не замечали, а скорей испугались бы их пропажи. Казачка, жившая одиноко в своем доме, помогла Шноли с лошаадьми, дала продуктов молоканке и барышне-беженке, велела готовить, мыть посуду, сыпала густо распоржения. Заметив Щербу, ничего не спросила, внимательно оглядела только и сказала Дзюбану:

— Отведи его в хату, посади в холодную клеть на скрыню. Только в темноте не оставляй, огарок там найдешь — зажги и ступай.

Щерба сидел сам, стен не оглядывал, безотрывно глядел на свечной огонек. Пахло едкими незнакомыми травами, на дворе шумела собака и топотали суетливые люди. Появилась хозяйка, выглянула через крохотное окошко на темную улицу, невнятно зашептала. Вынула два огромных ножа-свинокола, стала водить лезвием

о лезвие, приговаривала, заговаривала, очищала. Слов Алексей не разбирал, чуял только, что тело его, до этого слабое и безвольное, пронимает дрожью, входит в него холод настывшей клетки, а вместе с ним еще что-то непонятное, до поры сокрытое, но наверняка сидевшее с рождения и вот теперь пробуждаемое.

Хозяйка закончила «точить» ножи, подошла к нему, снова пробормотала, он различил лишь «рабу Божьему Алексею», и ссекла ножами две его пряди. Потом достала коловерт, пробурила им дырку в дверном косяке, капнула воска из огарка на срезанные волосы, слепила обе пряди вместе и заложила их в эту дырку, тоже залепив ее сверху воском. Ворожея встала за его спиной, сказала ясно и отчетливо в его заново рожденный ум:

— Будешь теперь соколом, все, что было раньше, забудешь.

На веки Алексею навесили по пудовой гире, она помогла опуститься ему на скрыню, перевернула на бок, подобрала его ноги и уложила.

Глубокой ночью Алексея разбудил отчаянный собачий лай, оборванный выстрелом. Захлопали ружья с разных концов хутора, протяжно взвыла пораненная сука, за стенкой холодной клетки растянула корова протяжный свой зов. Женский визг, конский топот и ржание, отчаянное иноязычное «Алла!», потом снова выстрел, снова и снова. Дверь в клеть распахнулась, Щербу схватили за воротник шинели, поволокли из хаты, пару раз наступив на пальцы. Весь хутор сгоняли в середину улицы, мужиков, баб, детишек, здешних и не здешних, ставили на колени в один ряд. Запылали камышовые крыши ближних хат, занялись постройкой. В свете пожара чабаны под гортанное улюлюканье выгоняли на улицы волов и лошадей, коз, овец, пытавшихся спрятаться людей.

Перед выстроенными пленниками гарцевал на разгоряченной лошади джигит в нарядном малиновом чекмене. Зловеще поблескивали огоньки в красивых его глазах, крепких белоснежных зубах оскаленной улыбки, сверкавших газырях, наборном серебряном пояске и кинжале. Звякала богатая уздечка. Он остановил коня, крикнул молодым голосом, лишенным страха и туземного акцента:

— Паршивые собаки! Зачем вы пошли против моего народа? Зачем грабите, зачем убиваете нас? Мы вырежем всех ваших мужчин, изнасилуем жен и сестер, а потомотрежем им одну грудь, а вторую оставим, чтобы могли выкормить нам жалких рабов из рожденных белокурых ублютков. Черноволосых заберем к себе в аулы и обратим в правоверных.

Он замер напротив Щербы, увидел ненависть в его глазах:

— Что смотришь, свиноед? Первым хочешь?

Перед глазами Щербы пронеслась молодая овдовевшая беженка, баба-молоканка, ребенок, вырванный из цепких объятий азиатской пучины, отвоеванный наверняка у голода. Все они были здесь же, в строю напуганных и ждавших расправы. Щерба сделал звериный прыжок, ухватил в полете черкеску джигита и расплющил о свою голову его лицо. Взвизгнули вынимаемые из ножен шашки. Щерба повалился на спину, прикрываясь выдернутым из стремян бездвижным телом. Посыпались на красивый чекмень сабельные удары, полетала от спины богатая алая ткань. Из-за одной хаты грохнул залп в десяток стволов, посыпалась разрозненная пушечная перебранка. Мужики, склонившие головы в строю пленников, кинулись с голыми руками на полосовавших шашками джигитов, летели из укрытий новые пули невидных пока стрелков, выхватывали в рядах джигитов новые проплешины. Казачка-ворожея кинула под хвосты волов пылавшую головню, и они опрокинули пару верховых, втоптали их в снег. Бабы расхватывали детишек, неслись во тьму, подальше от бойни.

Изрубленное тело подняли со Щербы. Останий грош в намокшей от холодного пота нижней сорочке, безумный и возбужденный дракой, полный радостным изобладением, тряс его за плечи, не мог поверить:

— Аলেখ! Во как, а! Неделю на ноги не вставал, пластом провалился... Как ты прыгнуть смог, ведь на колюшках стоял?.. Ох, досталось тебе...

Щерба холодно убрал его руки, взял в пригоршни снега, умылся и показал чистое лицо:

— Это была не моя кровь.

Остатнийгрош всмотрелся в его неузнаваемое обличие, со стыдом вспомнил, как совсем недавно он бросал обезглавленную курицу к ногам Щербы, с шуткой приказывал: «Ты у нас цирюльник, оболвань ее живенько, наведи прическу».

Подскочили незнакомые, снаряженные с головы до ног казаки:

— А мы близко были, выслеживали шайку, да мало нас, не могли их перехватить. Хотели за хутором вас отбить, в темноте, когда они б разделились, скотину угоняя. А тут ты! Ну и парень! Ты как его из седла вышиб, так мы не устояли.

Щерба стряхивал с рук остатки кровавого снега, того самого — пушистого и нежного, с которым любят играть дети, чуял на плечах свою и не свою расколотую голову. Он перевернул носком сапога изрубленное тело на спину, заглянул в растерзанное лицо. Не осталось там больше красоты и смелости, была черная измочаленная пуста.

ГЛАВА VIII

Девушка пришла к подножью монастырской горы по донскому льду. Сразу за горой, в укромной лощине, дремал хутор, сверху похожий на валенок. Час поздний, даже собака в хуторе не брехала. Через него шла из Белогорья дорога на монастырь, стоял близ ярка маленький кирпичный заводик, там же из мела выпекали известь, и название хутору было — Кирпичи.

Темное небо, высланное звездами, прорезали уступы меловых див, во мраке тоже темных, вымоченных в ночи. Дивам был виден левый речной берег, закутанный в мохнатый от снега лес, замерший до весны Дон и, у самой подошвы горы-прародительницы, бьющая жила родника. Крещенские морозы не совладали с криницей. Она живая и своей водой вгрызается в донской бок, точит его помаленьку. Девушка проплывала этими местами не единожды в своей лодке и сама бы себе теперь не призналась: летом ли здесь краше или в нынешнюю Боговляненскую ночь.

Над бующим ключом рос вербовый куст с пригнутыми снегом к земле ветвями. Девушка встала на колени, опустила в середину куста толстый восковой огарок, вынесенный ею со всюнощной. На снег легли продолговатые тонкие тени. Свеча горела словно внутри пряничного домика. Со службы девушка вынесла не только свечу. До сих пор стояли в ушах слова священника, прочтенные перед паствой из настольной книги для церковнослужителей:

«В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках (купаются в особенности те, которые на Святках переряживались, гадали, суеверно приписывая этому купанью очистительную силу от грехов). Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и морозов, как у нас. В пользу обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, потому что купаться зимой значит требовать от Бога чуда или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем».

И еще добавлял батюшка, от книги старой, с названием «Стоглавник»:

«В навечерие Крещени сходятся мужи и жены и девицы на nocturne плещевание и безчинный говор, на босовския песни и плясания, и на Богомерзкиея дела, и бывает отроком осквернение и девкам растление, ночь мимоходит, тогда отхо-

дят игрицы с великим кричанием, аки бесы, омываются водою, и егда начнут Заутреню, тогда отходят в домы своя и падают аки мертвы от великаго клохтания.

По Царской заповеди, всем Святителем коемуждо во своем пределе, и по всем градом, и по селом разослати попом свои грамоты с поучением и с великим запрещением, чтоб в навечерии Крещение Господне мужи, и жены, и девицы не сходилися, православным Христианом не подобает тако творити».

Девушка доверяла своему духовнику, а к автору настольной книжки Сергею Васильевичу Булгакову относилась с трепетом, но все равно после всенощной пришла к своему любимому месту на земле.

У криницы она быстро раскутала платок, вывернула из петелек шубки пуговицы, потянула через голову платье вместе с нижней сорочкой, подошла к самому краю криницы. Воды в чаше родника оказалось чуть выше колен. Крестясь и судорожно вбирая воздух ртом после каждого окунания, молодица трижды погрузилась в воду. Она выбралась на жалящий пятки снег, провела руками по лицу, по длинным распущенным волосам, которые схватились крошечными льдинками, наскоро отерлась огромной цветастой шалью с бахромой, быстро оделась.

Предрассветное небо стало чуть теплей, издали послышалось пение крестного хода. На прутьях куста, подсвеченного изнутри маленьким огоньком, плясала искорки. Резво скрипел снег под шагами девушки, и играла кровь в ее распаленном, горевшем теле.

Со стороны хутора вышел на берег юродивый Петрушка. Свеча, оставленная неизвестно кем под кустом, догорала, роняя в снег застывающие восковые капли. От Белогорья наплывал строй спетых голосов. Небо посерело, вот-вот готовое разродиться новым днем. В сумерках угадывался выкрашенный в свекольный цвет поклонный крест, застывшая, подернутая тонким ледком иордань. Петрушка вгляделся в распятие... Сквозь мутный покрасневший лед волной вдруг разошелся свежий сгусток от самой сердцевины креста, расплылся по продольной и поперечной перекладинам. Кровь выступила на кресте, побежала тонкой струйкой к подножью, закапала в темный зев иордани, тонкий лед в ней тоже стал красным, потом взорвался, с треском раскололся, забил из проруби кровавый ключ, закипела алая бурлящая пучина.

Петрушка сдернул с головы колпак, грохнулся на лед, упер лоб в холодную твердь, спутанные космы его разметались, голос бил с жалкой яростью:

— Господи! Призриши на меня! Народ твой — сиротка... Пожалей! Не губи...

Юродивый поднял похолодевший лоб — наваждение прошло: иордань сомкнула безгласые створки ледяных врат, крест снова упрятал в себе застывший и помутневший свекольный рассол, поскрипывало стальное колесо на верхушке замороженного в лед столба-карусели. Ворон слетел на то колесо, пристально поглядел на Петрушку. Пение хора стало ближе и отчетливей. Петрушка обернулся, на дороге виднелись яркие хоругви, кресты, свечи, упрятанные за красными стеклами фонарей. Впереди всех подбежали дельные мужики, затоптали в снегу одинокий босой след из иордани. Торопливо замелькали пешни, сетчатыми черпаками вынимали из проруби тонкий расколотый ледок. Крестный ход свернул с дороги, подплывал к обновленной свеженькой купели. Старики в тулупах, вернувшиеся с фронта шинельные мужики, мальчишечья орава. Где-нигде в рядах баба иль молодека. Мужики почти поголовно с оружием. До войны только с охотничьими берданками ходили — беса на Крещение отпугивать, а теперь — вольная воля, с фронтов оружия принесено невпроворот. Пацанва за пазухой голубей тискает, тоже обычай старый блюдет.

Но не будет уже по-старому. Батюшка только подошел с молитвой к иордани, еще не опустил в воду креста — кругом молодецкий гогот, выкрики, вцепились руки в шлейки, привязанные к колесу на замороженном в лед столбе — закрипела карусель. Торопливо поп дочитывал водосвятный молебен, чертил крестом на воде. Балагурство и мирской галдеж брали свое:

— Мыкола, здорово! Ты когда вернулся?

— Ну, здорово, брат, здорово! Вот где встренулись.

— На каком фронте был?

— На Волынском.

— Слишком много пьяных в этот крестный год, тьфу, то есть ход.

— Согласен с вами, Михаил Иванович. Прошлые года, пока фронтовики не вернулись, все чинно проходило.

— А вот представьте, что начнется, когда они начнут стрелять.

— Сегодня или... вообще?

Молебен окончился, священник, бормоча недовольства, отошел от края проруби. Иордань беспорядочно обступили, в воде захлебнулись ведра, кувшины, бутылки. Колесо на торце бревна визжало непрерывным скрипом, лихо кружились парубки, уцепившись руками за шлейки. Петрушка-юродивый подбежал к толпе у карусели, заблеял козликом:

— Молитесь колесу, оно умнее всех.

В кутерьме на него никто не глянул. Мальчишки собрались на краю иордани, по команде старшего разом выпустили белых голубей. Пальнули в воздух из охотничьих берданок старики. Бывшие солдаты полезли в карманы за револьверами и наганями, потянули с плеч ремни винтовок.

— А ну, братва, кто голубя на лету срежет!

— Брось, Антоха! Святой дух ведь.

— Брехня поповская. Голубь — птица беленька и ничего больше.

Загремела пальба. Один голубь спустился на снег, вспорхнул, залавировал между людей, подбивая бесшабашных стрелков на грех. Бабахнуло еще несколько раз, отчаянно вскрикнула дивчина, заголосила перебранка:

— Стой! Стой! Отставить стрельбу!

— Убили кого-то?

— Матвиенко это, Георгий. Возле Коваленковой улочки с матерью живет.

— Отжил свое...

— Наповал бедолагу.

— Вот, стервы, догулялись...

Тут же пьяно и нелепо шутили:

— Кличье попа, покуда далеко не ушел, сразу и отпевать начнем.

Священник Рыков мелко крестился, дрожали от волнения его побелевшие губы:

— Оружие боевое на фронте человеческой крови распробовало затосковало без нее... Окропили мы нынче праздничек вместо святой водицы.

* * *

Помимо оружия несли солдаты с фронта симпатию и яркую любовь к победившей партии. В семьях и с соседями рассказывали, что большевики — самая что ни на есть крестьянская партия.

Еще до Рождества вернулся в семью, к жене и матери, брат писаря Тихона — Никита. С первого дня он повел с Тихоном открытую агитацию:

— За кого на выборах голосовал?

— За эсеров, — соврал Тихон, потому как знал, что скажи он о меньшевиках, его и вовсе не поймут.

— Зря, Тишка. За эсерами завтрашнего дня нема. Большевики — вот партия, брат. Это они, а не эсеры хлеборобам землю роздали, это они солдат по домам распустили, и потому советская власть — это не власть, а цветы! А Ленин ихний... Вот башка, брат, так башка.

Мать, как только ноты в их голосах повышались, тут же встревала:

— Замолчите обоя! Чтоб не слышала вас. В моем доме этих разговоров не надо.

Невестка ее, жена Никиты, беззлобно посмеивалась:

— У нас еще ничего, мамаша. А вот у Сиволодских...

— Да слышала я, что передрались там. Вот и трепаю своих петухов, чтоб далеко не залетали.

Но Никита выбирал момент, когда мамыши не было, и все долбил про большевиков и Ленина, про светлую скорую жизнь.

Первого числа наступившего года Остапенко вызвал Тихона в управу на совещание.

— Из Валуек, от моей партийной организации, задание пришло, — начал председатель волостной земской управы, по старинке называемый «голова». — Нужно в Петроград человека послать для охраны Учредительного Собрания.

Тихон выждал, не скажет ли начальство еще чего-то, потом робко спросил:

— А это только эсерам такая директива пришла или представители от других партий тоже делегатов посылают?

— Точно не знаю, но, думаю, другие не дурнее нас. Большевики надумали собрание раздавить, это уже ясно. Если не пошлем делегата, отсидимся у себя по норам — каюк собранию, каюк демократии, каюк всей борьбе. Большевики единолично сядут и погонять будут, как барин извозчиком.

— Успеет ли делегат к пятому числу?

— Должен успеть, если сегодня до Подгоренской станции доедет и на поезд проходящий сядет. Четыре дня на дорогу, поспеет, думаю.

— Кого посылать хотите?

Остапенко загорелся:

— Есть на примете один. Нужно, чтоб столицу как свои пять пальцев знал, чтоб как рыба в воде там вращался. Иващенко Павел Захарович.

Тихон знал, что матрос Иващенко вернулся в Белогорье еще при Керенском, был демобилизован по возрасту. Знал Тихон и то, что держал Иващенко сторону большевиков. Он быстро посмотрел в глаза Остапенко: что это? «Голова» не знает о позиции петроградского матроса или проверяет Тихона на вшивость?

Тихон поддержал:

— Я с вами, Василий Анатольевич, согласен. Иващенко человек взрослый, надежный. В столице долго служил, все там знает. Кандидатура хорошая.

— Тогда беги за ним, пригласи в управу. Снабдим его деньгами на дорогу, инструкцию по охране собрания с ним проведу...

Иващенко вернулся после Крещения. Еще до глубинки не дошли вести о судьбе «учредилки», о расстреле большевиками мирной демонстрации петроградских рабочих. Тихон случайно встретил его на улице. Иващенко шел румяный и довольный, за плечами необхватный вещевой мешок, в обеих руках — по чемодану.

— Как поездка, Павел Захарович? — издали крикнул Тихон, узнав матроса.

— Поездка — мед, — сиял демобилизованный матрос. — Мануфактуры закупил, еще малость чего. Потом вещички свои забрал кой-какие, что по осени в руки не влезли. Спасибо братишкам — сохранили, не разбазарили. Мануфактуры теперь — хоть торговлишку открывай. По нашим пустым дням я теперь первый богатый в Белогорье. Спасибо «голове»! Если б не его деньжата, на дорогу в обе стороны даденные...

— А Собрание? — перебил Тихон.

— Я в город только шестого числа попал, — негромко проговорил Иващенко. — А «учредилку» пятого разогнали. Распустили ее вчистую, как нашу армию негодную. Караул, говорят, устал, да и разошелся, а вслед за караулом и делегаты разбежались. А нам того и треба, — подмигнул в итоге петроградский матрос.

— Как же Остапенко теперь? — удивлялся Тихон.

— Скажу ему, что для защиты не было никакой возможности. А деньги казенные... что ж, на дорогу потрачены.

Тихон вспомнил о речах брата по поводу Собрания, о своем выросшем за эти дни мнении, хлопнул Иващенко по плечу:

— Ну и царствие ему небесное! Туда Собранию и дорога.

— Видишь, как вышло: аккурат на Крещение. Крестилась Русь на новый манер.

ГЛАВА IX

От крупных городов и узловых станций, от полустанков и простых остановочных платформ тянулись по России толпы демобилизованных. Земскими мощными дорогами, большаками, трактами, затерянными в степях колеями, тропками, упрятыми в лесных чащобах, возвращался крестьянин в деревню.

Дмитрий шел павловским шляхом, вспоминал, как в четырнадцатом году, на третий день мобилизации, этой же дорогой уходили мужики, из запасных снова ставшие строевыми солдатами. В то утро летел по их улице в запряженной паре пьяный сосед по кличке Жеваный, от водки и горя не разбирал дороги и голосил на всю округу:

— Где трубка моя?! Андрея на войну собирать, а трубка затерялась!

Трубка бултыхалась в зубах Жеваного и не мешала его крику.

К вечеру надо было провозжать мужиков в уезд, на мобилизационный пункт. Жара жгучая, былиночка на ветру не шелохнется, такая сушь да тишь. Мобилизованные по команде земского начальника сразу грянули строевым и потонули в поднятой пыли. Тут и людской голос разгулялся: одна баба заголосила, вторая, потом хором перебранку затеяли, к бабам детишки подмешались, поплыл всеобщий плач над людской лентой. Молодайки, только недавно распутившие косу, шли в обнимку с грустной, вынимавшей душу песней:

День по садику гуляла, а ночь под кустиком спала.

Сама с собою рассуждала: кому я счастье отдала.

Я счастье отдала солдату, его узяли на войну.

Пишишь, мой миленький, в пехоту,

А я мласердною сестрой.

А если раню тебя, милый. Спешу ко мне ты в лазарет.

Я чисто раночки промою, бинтом я раны первязжу.

Заместо пуховой подушки свою я ручку подложу.

Смешанные с пылью слезы катились по бабьим щекам. Мужики мобилизованные — все как один навеселе, и «веселье» это только головы им затуманило, но душу не веселило. Вышли за деревню, тут настали настоящие проводы. Бабы надорвались в плаче, иные рыдали молча, смотрели на уходившую неведомо куда опору. Мальцы хватали за шеи отцов, тискали в объятиях:

— Батянька! Не ходи на войну! Пойдем до дому!

Не сдержались мужики, покатались в русые и пшеничные усы слезы. Обоз обо-гнул провожающих, выстроился в ожидании. Земский начальник сдернул фуражку, перекрестился:

— Ну, с Богом!

И, обеда взглядом команду, протяжно крикнул:

— По па-а-адво-о-ода-а-ам!..

Мужики отрывали от себя детишек, передавали на руки своим отцам и женам, бодрились напоследок:

— Прощайте! Ждите писем!

Телеги умчались в степь на рысях, и пыль дорожная поглотила, упряжала весь обоз с седоками, а над деревенской околицей еще долго стоял протяжный полустон-полуплач: «О-о-о... А-а-а...»

Дмитрий с Иваном вернулись в Дуванку после Рождества. Уже кончился пост и по деревне, забивали скотину, гуляли свадьбы.

Дмитрий в первую вечерку сказал Ирине:

— Скажи родителям: сватов буду засылать.

Ирина задохнулась от счастья, прижалась к нему, потом взглянула тревожно:

— А наверное ль вернулся, Митя? Не придет война?

— С войной порешили без остатку, к старому поворота не будет.

Другим днем оба пошли к своим родителям.

На Дмитрия заворчал отец:

— Не рановато надумал? Хоть оглянись спрехвала, побудь средь хлопцев, поостынь, парубковать еще пора. А то спржогоу, не успел армию покинуть. Раньше на службу уходили двадцати одного года да приходили через трешницу. Мужики! Шеи бычьи, силы воловьи. А ты... усы допутя и те не выросли.

Старики Ирины тоже были недовольны.

— За Митьку Крайнюка? — возопил отец. — Да у них всю жизнь окна мухами засижены!

— А я приду в их хату и вымою, — робко бормотала Ирина, не поднимая заплаканных глаз.

— Да у них завески никогда на окне не висело!

— Я приду, пошью им...

У Безрученковых-Крайнюков в хате мать выгораживала сына и будущую невестку перед главой семейства:

— Да брось, Гришка, не в Митьке дело. Иришка ихняя, сам знаешь, до хозяйства бойкая. И мастерство в руках имеет, всю семью обшивает. Надо брать.

В Гребенниковской хате мать Ирины — в ту же дуду:

— Митька-то у них парень дельный. Одежи, харчей два чувала с фронту привез. Не то что наш Иван, голодранец. Один патрет на карточке. Сиди теперь, Ванька, на морду свою любуйся.

К справедливости сказать, на фотокарточке был не один Иван, а и друг его, поэтому и портретом чаще любовалась Ирина, а не Иван, хоть и был теперь Дмитрий не за морями и лесами, а почти напротив — наискосок по улице.

— Иришка, — не унимался отец, — Митька в их дому как второй батька, у них же мал-мала-меньше. Ну, Степка ихний еще куда не шло, а Тишко только летом у Дуньки родился. Дунька на тебя все свалит по своей свекрухиной прихоти. Ты ж ему и за мамку, и за няньку будешь, своих некогда будет рожать.

— Ничего, Пашку нашего она с пупышка воспитала, чай и Тишку ихнего вырастит, — снова встревала Ганна, мать Ирины.

— Ну, погляди на дуру на эту! А про то, что Федоську ихнюю замуж выдают, тоже слышала? Федоська в чужой дом уйдет — на Иришку ее работа свалится.

— Все одно, мне кроме Дмитрия никто не нужен, — кротко стояла на своем Ирина.

— Тебе ж семнадцати годов даже нету, — пенял последним укором отец.

Он еще долго ворчал, но всем домашним стало ясно, что жена с дочкой переборщи его упорство. Ирина сказала вечером жениху:

— Боюсь я, Митрий. Отец недоволен, спорили мы с мамкой, да он, видать, на свою колодку хочет... Не отдаст меня.

— А я своего старика распропагандил! Авось и твоего уболтаем.

Через неделю пригласил Безрученков-старший в дом двух своих кумовьев. Со-

шлись к вечеру, сели за скромно накрытый стол. Первый кум, маленький, бойкий, пронырливый, такой в «этом деле» нужный, вытащил половинку кукурузного початка из бутылки, разливая, говорил:

— Ну, что, по маленькой — да пойдем «лисиц ловить»?

Зачем их собрали, оба кума без намеков поняли.

— После дела б пили уж, а не до, — укоряла мужа и обоих кумовьев мать Дмитрия.

— Евдокия, наше от нас не уйдет, — заверил вертлявый кум, опрокидывая стопку.

Второй кум, пожилой и степенный, тихо сказал отцу семейства:

— Григорий Левонтьич, вели Митрию — нехай запрягае, по второй выпьем, а третью уж будем в сватовом дому пить.

Дмитрий слышал распоряжение, но ждал отцово слово. Григорий Леонтьевич только повел бровью, и сын выскочил на двор. Выпили по второй, завернули в вышитый рушник обрядовый каравай, перекрестились на образа, нахлобучили шапки. До двора, где пришлось им «лисиц ловить», было камнем докинуть, но таков обычай: сватовство — дело серьезное, и через ворота выехали на санях. Женских правил, провез отца с кумовьями вокруг всего крайка, подъехал ко двору Гребенниковых с другого бока, будто издалека. Неторопливо выбирались из саней, чинно обметывали прилипшее к кожухам сено и набросанный из-под копыт снег. Дмитрий остался при лошади, меж страхом и надеждой.

Гости погупотали сапогами по порожкам, медленно, с достоинством сигналяли о приходе. Подойдя через сенцы к двери, первый кум выкрикнул давнишний пароль:

— Добрый вечер! Пускайте на хватуру!

Внутри все замерло, непредупрежденные хозяева этим кличем были оглошенны. Наконец, раздалось волнительное:

— Если добрые люди, так милости просим!

Дверь приоткрылась, заглянул внутрь первый кум, увидел невесту, ее мать и брата, слышал перед этим четкий отзыв, но все же спросил ласково:

— Чи есть кто в хате?

— Милости просим! Заходить! — с радушием отозвалась слегка напуганная затянувшимся гупотанием у порога Ганна.

Все трое сняли шапки, перекрестились, сели к столу на предложенные табуреты. Григорий Леонтьевич выложил на стол рушник и развернул его, обнажив румяную верхушку каравая. Первый кум всю дорогу не замолкал, выспрашивал, что положено, сыпал пожеланиями:

— Да добрый вечер, да будьте здоровы, да как поживаете, да с понедельником вас, да помогай Бог...

Ганна отвечала без замысловатостей.

— Где ж хозяин ваш? — спросил, наконец, первый кум.

Ганна, сама почуяв от мужа недоброе, натянуто улыбнулась:

— Да выйдет сейчас. Митрофан! Не слышишь, че ли? Гости у нас.

Из комнаты наконец появился хозяин. По-домашнему, в одних исподних штанах. Он слышал пароль у входа, видел обрядовый хлеб. Встав в дверях и облокотившись на притолоку, Митрофан с видимым недовольством выдал:

— Незванный гость хуже татарина.

Ирина при виде его нижних штанов мучительно зажмурилась, забывшись, поднесла руку ко рту.

— Гость гостю рознь, — нашелся первый кум и, отбросив раскачку, заговорил о деле.

Григорий и оба кума видели, что хозяева стоят, за стол не садятся, отвечает Митрофан холодно, но помнили — так полагается.

— Девка наша молода еще, — говорил Гребенников-старший, — да и думки за муж не держит.

Подключился второй кум, твердо помня, что пока каравай со стола не подан обратно в руки сватов — дело не проиграно, а родители Ирины просто выжидают нужный для обряда срок:

— Так давайте ж девку спросим? Нехай она скажет: держит думку аль нет?

— Скажи нам, Ирина, — заговорила мать, — готова за ихнего сокола выйти?

Чуть было не слетело у невесты с губ радостное согласие, но спохватилась она, вспомнила, как положено отвечать. Стояла молча, улыбалась, подавая верный знак.

Оба кума дружно потянули из-за пазухи водку. Григорий подошел к окну, махнул Дмитрию. Тот радостно впечатал кулак в свою ладонь — сработало! Торопливо примотал недоуздок к воротному столбу и вбежал в сени, его место пока было у дверей, меж теплом и холодом.

За соседями и ближайшими родственниками послали Пашку, младшего брата невесты. Вместе с женщиной, что крестила Ирину при рождении, в дом из сенцев вошел и ее будущий муж. Стол накрыли в мгновение ока из того, что было под рукой и что наскоро прихватили с собой приглашенные гости. Ирина вынесла запасенные заранее вышитые рушники, одарила будущего свекра и обоих его кумовьев, Дмитрию поднесла небольшой платочек.

Григорий наклонял опьяневшую голову к уху Митрофана, тыкался лбом ему в плечо:

— Сваточек, только уговор, ты уж не обессудь, а Федоську мы в тот же день выдавать будем, что и Дмитрия.

Митрофан, слышавший это в десятый раз, морщился, знал, что добром такая двойная свадьба не кончится, серьезно, без улыбки отвечал:

— Да уговорено уже, уговорено. Чего переспрашиваешь? Надумали две свадьбы в день, так гуляйте.

На следующий вечер вся женихова родня пришла в дом к новому свату, опять Ганна накрывала на стол, и гости расставляли принесенные из дома глечики и кувшины. Вся хата в скамьях и столах. Таял в глиняных мисках холодец, искрилась роса на бочковых помидорах и капусте, дымился только вынутый из печи, разломленный кусками хлеб, плавилось в тепле занесенное из сенцев, наструганное разновеликими дольками сало, дрожали стекла от смеха и радости.

Ирина обошла мужчин с жениховой стороны, подносила полную чарку на блюде, и всех их перецеловала. Мужики опрокидывали стопку, тянулись к молодой мокрым усам, после — сыпали на поднос медную царскую мелочь.

Теперь «сватованье» сыграно, свадьбе быть не позже, чем через две недели.

Последняя незамужняя заря. Прощание с девичеством и подружками, с молодостью. В ночь перед свадьбой гуляла февральская вьюга, и наутро полезла Ирина с подругами через наметенные сугробы зазывать соседей и родню. Зайдя в хату, Ирина ставила на стол ритуальный каравай, радушно приглашала:

— Просили батька и мать к нам на хлеб, на соль, на веселье!

Потом брала каравай и шла в окружении подружек к другой хате.

Через час-полтора в доме у невесты — не протолкнуться. Молодая наряжена, в бумажных цветах и лентах, в платье, пошитом собственными руками. Подружки трогают наряд, непрестанно расправляют, вслух обсуждают его и невесту. В жениховом доме тоже суета: наливают, закусывают, снаряжают молодого, сани и лошадей свадебного поезда. Здесь тоже ждут купцов для своей молодой, сестры Дмитрия — Феодосии.

Григорий торопил сына:

— Живей, Митька, живей! А то как гости с Майданки наедут, так и задержимся, не успеем Иришку выкупить.

Съехалась родня: из Бабки — родной брат Григория, Филипп Леонтьевич, с женой и детишками, из Павловска — второй брат, Захар Леонтьевич с супругой, двумя сыновьями и двумя дочками, девками на выданье. Дмитрий с малолетства знал: дядька Захар — мужик с должностью и положением. Уже до войны он командовал пароходом, хоть и начал с низов, с простых матросов. Если б не ранняя мобилизация, Дмитрий бы наверняка служил на «Заре», где капитаном его родной дядька.

Свадебный поезд за Федоськой приедет из соседней москалячьей деревни. Пошли так: везти в церковь сразу обе пары, потом вернуться в дом Григория Леонтьевича, проводить за столом дочку, а после принимать в хате новую невесту и всю ее родню. Дмитрий ворчал:

— На черта вы эту двойную свадьбу устроили? Не могли нас разбить с Федоськой?

— Не гуди на отца! — строжил Григорий. — На то наша с матерью воля, сподручней нам одним махом.

От женихового двора к невестину тронулся свадебный поезд. Круг почета давать не стали, напрямиком, через улицу наискосок, переехали — и уперлись. Отворилась дверь, и, не переступая порога, поддружий со снопом ржаных колосьев неторопливо и выразительно поклонился, нашел глазами крестного невесты, обратился к нему:

— Староста, наше подстароста! Кто до кого, а мы до Бога и до вашего здоровья челом бьем.

— А мы рады слушать.

— Благословите в сей честный дом покрасу внести.

— Бог благословит.

— В другой раз и в третий.

— Трижды разом: Бог благословит!

Поддружий переступил порог, стал разделять сноп, подошел к красному углу, где за накрытым столом сидели родители невесты и самые почетные пожилые гости, втыкал колосья в божницу, за иконы, шел дальше по хате, рассовывал колоски в прибитую под потолком полку для посуды, в печную заслонку, в оконную ручку. За поддружим ввалилась толпа остальных дружков и сам жених в ее окружении.

Выскочил вперед Пашка с друзьями и двоюродными братьями, стал торговать невесту: одаривать жениха и его дружков ударами палок по голове. Обернутые соломой палки стучали в лишенные шапок головы, и пара дружков замахнулись на чересчур рьяных мальцов. Посыпались на поднос к Пашке бумажные керенки, когда и этого было мало, жених прорвался к столу и выставил прибереженные женские полусапожки, сторгованные у немцев за мыло и крупу. Гости ахнули, обычно жених клал невестин подарок в виде шерстяных чулок.

Вывели молодую, с лицом, укрытым фатою — тонкой однослойной марлей. Жениху поднесли чарку пива с плававшими зернами овса. Дмитрий, не пригубив, опрокинул стакан себе за правое плечо — показал, что будет жить с супругой в мире и на водку семь не променяет.

Молодых подвели к невестиным родителям. Ганна тихо заплакала, подняла дрожащими руками образ Иверской, обернутый в рушник. Митрофан сказал нужное благословение, молодые поцеловали икону. Народ в хате зашевелился, стал проталкиваться на улицу.

Кони, заведенные во двор, нетерпеливо топтались на морозе, всхрапывали, чужую скорую езду, взмахивали заиндевелыми гривами. Звенели в дугах свадебные бубенцы, и ярко алели коленкоровые ленты в разряженных оглоблях, поводьях и санях.

Подружий схватил в руки шест, потрясая им — отгоняя вражью силу, трижды обежал свадебный поезд. Мать жениха торопливо попевала за поддрузим, осыпала гостей в санях овсом, лесными орехами и мелкими деньгами. Потом, обернув руку полою полушубка, взяла ее поводья той лошади, что везла сани с молодыми, и вывела со двора через распахнутые ворота.

Поезд помчался к церкви, а ко двору Безрученковых подъезжали сваты из Майданки. Хоть и редко, а случалось, что девушку-хохлушку выдавали в москолячье село. Чаще же возмущались хлопцы-хохлы, говорили про девок из чуждых деревень: «Хочь воны и гарни, та московки не вмиють борщу гарного зварить».

Путь из Майданки был не близкий и не сказать, чтоб очень далекий, но гости в хате Безрученковых сразу поняли, пока ехал к ним поезд, гуляли в санях крепко и грелись отчаянно. Бабы с красными от мороза и ветра лицами в таких же красных платках хохотали и спотыкались, выбираясь из саней. Прибывшие с поездом пожилые сваты были немного трезвей, вовремя гаркнули на расходившуюся молодую ораву.

Скопом зашли в хату, мигом выкупили Федоську, женихова москолячья родня, особенно бабская половина, стала тут же наставлять невесту:

— Запомни, молодая: жена не бита, что хата не укрыта.

— Федоська: грех — пока ноги вверх, опустил — Господь и простил.

— Не то болтаете! Самое главное: хороший жернов все мелет, а худая жена и на ...ю дремлет.

Григорий грозно взглянул на свата из Майданки, тот все понял, снова гаркнул. Стромыги хватили ненадолго. Пока садились по саням, ехать на венчание, из соломы достали упрятанную посуду, забулькала мутная струя над подставленным стаканом. Следом запела гармошка, и грянул залиvistый бабий голос плясую-замужнюю:

А уж свекор на печи, словно кобель на цепи!

А свекруха на полати, словно сука д'на канате!

С других саней подхватил резвый девичий вольный щебет:

Пошла плясать — доски гнутся!

Сарафан короток — ребята смеются!

Григорий Леонтьевич в отчаянии махнул рукой, наставлял своих кумовьев и пожилых сватов:

— Вы хоть в церкву эту шайку не пускайте!.. Засмеют нас соседи...

Дмитрия и Ирину привезли с венчания в женихов дом. Сошлись и съехались сюда обе родни. Федоську с ее новым мужем повезли из церкви сразу в Майданку, и было уговорено, что ее сторона приедет туда гулять свадьбу завтра. Григорий и Евдокия с облегчением утерли лбы.

По деревне пустили сани. Из плетеного коробка свешивалось байковое одеяло, торчали уши набитых пером подушек, прочий скарб, домашняя утварь, подаренные и полученные в приданное вещи. Из края в край по всем улицам прокатили сани, показывая, что у Гребенниковых, Митрофана и Ганны, дочка не голый пошла замуж, а с приданным. Люди глядели, одобрительно качали головой: «Гляди, сколько у молодой добра».

На пороге крайнюковой хаты стояли две кумы, вызванивая деревянным молотком в дно сковородки, приплясывали и пели:

— Кто к нам на свадьбу, денег не жалея, плати да проходи.

Сыпались в сковородку бумажки, но достаточно было и мелкой монетки, чтоб гостя впустили. Подошел кум одной из теток-привратниц, пошарил в опустевших карманах, взмолился:

— Кумушки, родные, я молодым еще в церкви все отдал, ничего не приберег.

— Если нечего сюда положить, — стукнула молотком одна из привратниц, — так целуй ее вот... — И перевернула сковородку закоптелым дном к мужику.

— Давай я лучше тебя!

Полез было целоваться, но кума-привратница стала охаживать его деревянным молотком по темечку, по лбу, по ушам и еще по чему придется. Мужик, однако, обнял ту, что сыпала на него удары, закружил, заплясал с нею и прорвался-таки в хату...

Поздней ночью Ганна ввела домой своего подвыпившего супруга, он не сопротивлялся, шел покорно, пытался тянуть долгую, как дума, песню. Сын их Ванька шел следом, пошатываясь, хотел помочь матери, она лишь отмахивалась, но молча, без ругани. Уложила мужа, следом улегся впервые захмелевший сын, младший, Пашка, спал уже давно. Ганна тяжело опустилась на табурет, прижалась спиной к остывающей печи.

На дворе снова собиралась метель, во вьюшке завывал ветер. Заслонка мелко колыхалась от дрожавшего в трубе горячего воздуха, и пшеничные колосья, вставленные под дружим в заслонку, гладили усами нарисованных на печном боку красных коньков, птиц и разномастные завитушки. Бились в заиндевелое окно высохшие пожелтелые зерна. Ганна почуяла свалившуюся только теперь печаль, закрыла ладонями лицо, тихо и горько простонала:

— Иринushка моя... как же я без тебя буду... выдали нашу сиротку... сами осиротели...

ГЛАВА X

На очередном витке мирных переговоров в Брест-Литовске генерал Гофман выложил на стол конкретные условия Центральных держав и для весомости придал документ носком германского армейского сапога — явный намек на развитие действий в случае отказа. Да, русские многое знают о нас: мы пережили «брюквенную» зиму в прошлом году, и нынешняя обещает носить такое же название; мы каждый день добавляем к своему списку новый «эрзац», у нас нет хлеба, нет масла, нет меда, нет животных жиров — один сплошной «эрзац»; у нас разразились масштабные забастовки и начались беспорядки. Но и мы знаем о вас не меньше: о шаткости большевистской власти, об отколовшейся Украине, об утерянном Закавказье, о полыхавшем пламени на Дону и Кубани, обо всем мы знаем и о важности этого мира для русских — тоже. А поэтому вот вам карта новой России, хотите — соглашайтесь, не хотите — проваливайте.

Аппетиты у германских политиков по сравнению с ноябрем значительно выросли. На этой карте Россия мало что оказалась без Польши, Литвы и Курляндии, там также недоставало всей Лифляндии, Эстляндии и доброго куска Белоруссии, немцами пока не оккупированных. То есть СНК должен был в добровольном порядке эти территории очистить и преподнести на блюде. На месте Украины вообще зияла черная дыра, потому как судьбу этой территории немцы намеревались обсуждать с делегацией УНР.

Троцкий, сменивший Иоффе на посту главы русской миссии, быстренько запросил перерыв «для ознакомления с этой столь ярко обозначенной на карте линией», и вечером того же дня русская делегация заявила о новом десятидневном перерыве в работе конференции. Обозначив следующую дату заседания, глава дипломатической миссии отбыл в Петроград.

Вести о приостановке переговоров в Брест-Литовске привели к массовым забастовкам на заводах Австро-Венгрии и голодным бунтам, прокатившимся по городам империи. Самым опасным было зарождение рабочих советов, выполненных в

точной модели и лучших традициях российских рабочих советов. Делегаты этих новообразований публично выступали за отправку своих представителей на переговоры с Троцким, посылали горячие обещания всему рабочему классу о готовности договориться с русскими в кратчайшие сроки: «Рабочий рабочего всегда поймет и услышит».

Глава русской миссии на пути в Петроград жадно перелистывал австрийские газеты, с теплой улыбкой потирал ладони, затаенные мысли млели за стеклами бликующих пенсне. А на столе громоздились ворохи сухих армейских донесений из окопов:

«Никакой армии нет; товарищи спят, едят, играют в карты, ничьих приказов и распоряжений не исполняют; средства связи брошены, телеграфные и телефонные линии свалились, и даже полки не соединены со штабом дивизии; орудия брошены на позициях, заплыли грязью, занесены снегом.

Многие участки фронта совершенно оставлены частями и никем не охраняются. При таких условиях фронт следует считать только обозначенным...

Фронт Особой армии на протяжении ста двадцати верст открыт... и т. д. и т. п...»

Но даже эти худые вести не могли омрачить наркома по иностранным делам, ведь помимо них здесь вкрапливались горячие домыслы разосланных вдоль фронта красногвардейских комиссаров: «В армии еще жив подъем на ведение “революционной” войны с германским капитализмом!», «Немецкий рабочий, временно одевший кайзеровскую шинель, за многие месяцы нашей неустанной пропаганды уже смотрит на русского революционного солдата не по-враждебному, а с братской пролетарской любовью! Он скорее готов поднять штык против офицера-угнетателя, против тылового буржуа, готовящего немецкому солдату порабощение и гнет».

В Петрограде на совещании ВЦИКа председателем дипмиссии была предложена формула: «Мы войну прекращаем, мира не заключаем, армию демобилизуем», т.е. тем самым ставим германское правительство в глупое положение. С перевесом в два голоса был принят именно этот сценарий. Как лозунг витали слова К. Маркса: «Мировая революция может произойти только в самых развитых странах!» Но раз революция грянула в «слабом звене» цепочки развитых стран, то скоро посыплется и остальные звенья! Для чего заключать мир? Скоро весь Мир будет сплошной Мировой революцией!

Делегаты забывали менее знаменитую фразу другого германца: «Если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко».

На Украине тоже не сидели сложа руки. В Киеве заседала одна Украина, а в Харькове тем временем народилась вторая, социалистическая, признававшая над собой верховную власть Петрограда. Весь юг и восток новорожденной Украины, все промышленные русскоговорящие города собрались под красное знамя. Совет Народных Комиссаров признал именно эту Украину — Харьковско-Криворожскую, а сидевших в Киеве республиканцев объявил узурпаторами.

Из этой восточной Украины на Киев, ради объединения, в начале января вышел в поход войско под командой бывшего царского полковника Муравьева.

Город окутался тревожным гулом, слухами и вестями:

— На «Арсенале» восстание!

— Весь Киев большевистский. Вы видите, какая у них поддержка?

— Войск посогнали, а что толку? Большевики всех распропагандировали на свой лад. Даже полк Грушевского за республику не воюет.

— Большинство по казармам сидят, ни к большевикам, ни к республике не примыкают.

— Я слышала, торгуют оружием, продают патроны восставшим.

— Петлюра близко, Петлюра их раздавит. Петлюра им покажет. Гадючье гнездо в «Арсенале» раздавить осталось. С Петлюрой Гайдамацкий кош...

Хвостом трое суток не выходил из жилища. Старушка, у которой они жили, настояла на этом, боялась, что Петра, как военного, может поймать на улице та или иная сторона, возникнут неприятности. Супруга же его была равнодушна. К началу восстания у них окончательно вышли все деньги, Петр в душе радовался, что так оно случилось и как с мужчины снимало с него все вопросы. Теперь не нужно было рыскать по городу в поисках денег и работы, ведь на улицах стреляли.

Сидели на голодном пайке, все трое по разным комнатам. Бабушка раз в сутки бегала по соседям, брала в долг продукты, готовила что-то скромное, приглашала ужинать. Супруги долго отказывались, потом один сдавался, шел, тихо и без аппетита проглатывал пищу, снова укрывался в своей норе. Выходил другой, ел так же вяло, уползал к себе в раковину. Главное было — не встречаться. Ни в кухне, ни в коридоре, ни на пути к умывальнику или в уборную.

Старушка все видела, пыталась выпросить, помирить, соединить. Супруги отмалчивались. Однажды им все же пришлось столкнуться в переходе между комнатами. Хотели, как и раньше, сделать вид, что они не существуют, но Петр вымолвил:

— Вика, надо поговорить.

Она молча проскользнула мимо него, пошла к своему убежищу, он догнал, втиснул ногу меж косяком и дверью, не дал ее закрыть. Вика сильно не сопротивлялась, отошла от двери, плюхнулась на тахту и, обняв руками колени, уставилась в одну точку.

Петр осторожно затворил дверь, хотел присесть на другой конец тахты, передумал и, взяв стул, отнес его к наглухо задернутому шторой окну. Вика сидела неровно, ее повело на сторону, скособочило, в полумраке комнаты она походила на бесформенный ворох набросанной одежды.

— Ты можешь мне ничего не отвечать, но все равно выслушаешь меня.

— А я и говорить тебе ничего не хочу, — перебила Петра жена, — только потому, что тебе самому сказать нечего. Ну, что ты мне скажешь? Будешь оправдываться, почему у нас денег нет и в доме пусто? Ты думаешь, я не вижу, что тебе вся эта война за окном только на руку?

Петр оторопел, долго пытался отыскать лицо Вики, но не различал его в полумраке.

— Ты... ты не права. Я совсем не за этим...

— Господи, мы никчемны, Петя! Бог нарочно устраивает нам естественный отбор: «А ну-ка, посмотрим, что с вами будет». Мы неумехи, и мы никому не нужны! Мы жили всю жизнь за счет рабочего класса и думали, что они не смогут без наших премудростей, без нашего эстетства. Они очень даже справляются без нас, и мы им вправду не нужны. Мы должны сгинуть с этой земли, пропасть, раствориться.

Виктория распрямилась на тахте, обрела черты, затем и вовсе вскочила, забегала по комнате, замерла, схватилась за виски:

— Господи, что же мы натворили? Зачем мы все разрушили и устроили это? Зачем сами вызвали беду? Все эти Герцены, Брешковские, Чернышевские...

Петр медленно проговорил:

— Во всем виноваты немцы.

Вика даже не посмотрела на его силуэт на фоне окна, стояла и сжимала виски, а он продолжал:

— Если бы не случилась война, не быть и революции. Это она растоптала наши судьбы. Она устроила закулисную чехарду, министерские салки, и в итоге немцы скинули нашего царя, в считанные месяцы развалили страну и армию... И продолжают ее разваливать, пить нашу кровь...

Вика взмахнула руками:

— Да опомнись же! Что ты говоришь?! Никакие немцы царя не скидывали. Это все мы! Мы!

В конце улицы грохнул выстрел, за ним еще несколько. Петр вскочил, отсло-нил штору, прилип лицом к окну. Вика потащила его за рукав:

— Уйди... скорее... Пойдем в твою комнату, она надежнее, и окна там во внут-ренний двор.

В душе у Хвостова на миг посветлело: «Волнуется, может, не все еще угасло? Что это за забота: по любимому или просто живому человеку?»

Он покорно пошел вслед за ней, навстречу попалась бабушка, тоже стала звать их в комнату, где поселился Петр, на ходу недовольно ворчала:

— Это все ты, детка. Зачем раскричалась? Беда на крик падкая...

Стрельба вдоль улицы нарастала. Они сгрудились посреди комнаты, сели на пол, Петр навалил на окно подушек и тюфяков, хоть и выходило оно во внутрен-ний двор. Попытался придвинуть к окну еще и шкаф, но Виктория цыкнула на него:

— Тише...

В это время скрипнул деревянный соседский забор, шаги протарахтели по же-стяной крыше дровяного сарайчика, угасли в заваленном снегом углу. Прошло не больше полминуты, казавшейся вечностью, и в стекло веранды негромко посту-чала.

— Не открывайте, детки, не открывайте! — тревожно зашептала бабушка.

— Я пойду, — дернулся от шкафа Хвостов.

— Нет, ты сиди с бабушкой, — опередила его жена, мигом вскочив на ноги и выпорхнув из комнаты.

Петр встал на колени, просунул руку в щель меж стеной и комодом, вытащил сверток и распаковал револьвер. Бабушка ойкнула, по-детски зажмурилась и сверху закрыла ладонями глаза.

На веранде тихо и коротко проговорили, звякнула щеколда, скрипнули замер-зшие дверные петли. Появилась Виктория, тяжело дыша, опустилась рядом с ба-бушкой на пол. В полумраке затемненной комнаты Петр заметил, как она поблед-нела.

— Какой-то офицер, но одет, как рабочий... Просил убежища... Я впустила его к нам на кухню...

— Как ты поняла, что он офицер? — не смолчал Петр.

Вика на минуту замялась:

— Сама не знаю, может, и ошиблась... Но ты посмотришь и, наверняка, тоже так решишь.

— Ранен? — задала свой вопрос бабушка.

— Кажется, цел.

В дверь к соседям оглушительно забарабанили, стало жутко даже здесь, в отда-ленной комнате. Все напряженно ждали, что и к ним нагрянет погоня. Из-за забо-ра слышался рывкающий голос, наверняка отдававший команды, — слов было не разобрать. Снова заскрипел забор, словно через него перелезали или пробовали тот на прочность. И все же в их запертую дверь по-прежнему никто не стучал.

Прошло минут тридцать, а может, и больше. Шум у соседей, как и стрельба на улице давно стихли. Женщины перебрались с пола на кровать. Петр решил взгля-нуть на гостя. Спрятав револьвер в кармане брюк, он велел женщинам оставаться в комнате.

Хвостов осторожно приотворил дверь на кухню — в проеме никого не увидел, но услышал в «мертвой зоне», за полотном двери:

— Вы в доме одни?

Хвостов обстоятельно, не зная, как отреагирует чужак на его появление. В углу отчетливо крикнул взводимый курок, Хвостов тут же прошептал:

— Уберите оружие, вам никто не угрожает.

— Сколько людей в доме? — требовательно донеслось в ответ.

— Нас трое: я, жена и ее бабка, — отвечал Петр, понимая, что с напуганным человеком лучше не спорить.

— Позвольте мне остаться до темноты. Ночью я уйду.

Петр чуть выждал, потом ответил:

— А если к нам придут и станут вас искать?

— Если не нашли сразу, то теперь уже не придут. Уверю: я не хочу вам плохо. Просто позвольте остаться до темноты.

Петр молча затворил кухонную дверь.

Вернувшись к своим, он спросил жену:

— С чего ты решила, что он офицер?

— Ты видел его?

— Нет, он боится и не дает мне зайти на кухню. Попросился побыть до темна.

— Выходит, и нам здесь торчать до ночи? — тихо возмущилась бабушка. — Вот уж времена: в своем доме не хозяйка.

С началом сумерек Петр разгородил сооруженные им завалы на окне, Виктория заново постелила его кровать. Стали осторожно передвигаться по дому, кухню обходили на цыпочках.

Наконец, Петр, постучав в дверь кухни, напомнил:

— Уже почти стемнело...

За дверью послышался шорох, потом шум передвигаемой мебели, которую, видно, ставили на место. Петр отошел в конец перехода, достал из кармана пистолет и сунул руку с оружием за дверной косяк. Тревожная дверь приоткрылась, выглянул из нее плотный мужчина в черном пальто и круглой каракулевой шапке. Он быстро окинул взглядом переход, заметил Хвостова, побежал глазами дальше... Потом вдруг снова вернул их на Петра, ввелся ими, прищурился в сумерках. Петр уловил внимание гостя на себе, ему почудилось знакомое в его стремительных движениях и зорких глазах. Гость произнес:

— Я знаю тебя... Воевали вместе... Имени только твоего не помню. Не узнаешь?

Хвостов понял, кто перед ним, только теперь. Портрет без голоса не складывался, а голос без картинки не помог ему распознать человека, когда они говорили через дверь кухни.

— Коля? Ростоцкий...

— Да я-то Коля, ты напомни, как тебя величать, — двинулся Ростоцкий ему навстречу через переход.

Они с размаху обнялись, стиснули крепко друг друга.

— Вспомнил! Петей звать. Точно? Угадал?

— Как ты здесь? Мы думали, ты погиб, думали, ты в плену.

— Все дороги ведут в Рим.

Фронтные объятия разъединились, но Хвостов и Ростоцкий все еще стояли вплотную, смотрели в близкие глаза.

— Ну, говори же, говори, — радостно настаивал Петр.

— Слушай, а теперь-то я могу у тебя задержаться?

— Конечно, хоть на всю ночь.

— Ты знаешь, я бы предпочел дня на три, на четыре. В городе мне идти больше не к кому, а наши будут в Киеве очень скоро.

В переходе появились Виктория с бабушкой. Они уже многое поняли, но все равно хотели объяснений.

— Петр, — холодно сказала ему жена, — я начую, тебе стоит нас познакомиться.

— Это жена моя — Вика. Это ее бабушка — Ева Каземировна, а это мой фронтовой приятель...

— Николай! — не дал договорить Петру «фронтовой приятель», склонился над рукой Вики, после поцелуя руки у старушки, задержал ее в своей руке, быстро, но вятно заговорил:

— Ева Каземировна, я вижу, вы здесь человек опытный, скажите: сможем ли мы устроить небольшой праздник по случаю нашей с Петром встречи и нашего с вами знакомства? Все финансовые вопросы беру на себя. — С этими словами Ростоцкий ловко переложил в руку старушки увесистую стопу николаевских купюр. — От вас только организация банкета. Я понимаю, время беспокойное — комендантский час, и мне бы не хотелось подвергать вас опасности, но, может, что-то удастся придумать, может, поблизости есть лавка, или соседи приторговывают.

Старушка из природного приличия хотела отказаться от денег, Ростоцкий мягко настоял, и Ева Каземировна ушла к платяному шкафу, в душе радуясь, что этой суммы хватит даже для расчета по долгам.

Виктория была так же холодна, как и до происшествия со стрельбой на улице. Она тихо сказала, что если понадобится, то она у себя, и удалилась. Ростоцкий было начал ее приглашать на совместную беседу, но Хвостов быстро оборвал его взмахом руки, вслух добавил:

— Вика присоединится к нам за ужином.

Ростоцкий всмотрелся в друга, и тоже сказал вслух, больше для Вики, чем для себя:

— Да, понимаю, после пережитого неплохо бы прилечь отдохнуть.

В комнате Петра Ростоцкий скинул пальто и шапку, потер ладонь о ладонь, хотя в доме находился давно и руки у него явно не мерзли. За окном совсем стемнело. Петр плотно задернул шторы, отыскав свечу, зажег свет. Перестеленная кровать была как сданный заново карточный кон, и они оба уселись на нее. Ростоцкий велел говорить первым Петру:

— Давай от тех самых пор, когда завершился бой на мельнице. Особенно подробно про жену и свадьбу. Какой резвый, слушай. Сколько вы с ней знакомы, что ты так быстро женился?

— Так про жену или про мельницу?

— Про мельницу давай. Жена всплывет потом, я понимаю.

Хвостов надорвал отслоившийся кусок кожи на своей ладони, скромно начал о ранении, о госпитале и встрече с давней приятельницей, переродившейся в заботливую сестру милосердия, про мытарства последних дней войны, про осень в окопах, про долгий путь от фронта к Киеву. Ему хотелось казаться в глазах Ростоцкого прапорщиком Хвостовым, стойким, верным своей идее и своему долгу.

С досадой Петр сетовал ему:

— В такое время я остаюсь не у дел, прячусь в старухином доме.

Ростоцкий оживился:

— То есть, будь у тебя другие обстоятельства, скажем, не виси на руках молодая жена, ты бы примкнул к одной из сторон?

— Не знаю, Коля, не знаю. К тем, кто сейчас делит власть в Киеве, наверное, нет, не примкнул бы. Просто... я чувствую, как уходит время, оно великое... и я не могу ничего поделаться. Через годы дети спросят меня: «Где же ты был? Почему не противился этому времени?», а я не смогу ничего сказать им.

Ростоцкий видел, что Петр лукавит. На самом деле его гнетет что-то более глубинное, и Хвостов лишь прятается за высокие, нелепые слова.

Ростоцкий помолчал, прикидывая, с чего начать свое тихое вращение:

— А вот я устал жить в исторических событиях, Петя. Ты пытаешься остаться романтиком, пытаешься держать позу, и зря. Ты уже не тот слюнтяй-прапорщик, что прибыл летом в окопы и восторженно разевал рот на призывы столичных агитаторов о войне до победного конца. Взгляни на себя, Петя, ты другой. Лучше заботься о безопасности жены, а то и своих историй в будущем рассказать окажется некому. Сохранение себя, своих близких — вот главное противостояние давящему на нас времени.

Петр снова поковырял ладонь, уставился на огонек свечи и долго не сводил с него глаз. Ростоцкий продолжил:

— Я не попал в плен после той атаки, не был ранен. Я просто покинул поле боя. Трусость или малодушие — решай сам. Тогда на рассвете, на марше, когда мы еще не дошли до мельницы, я понял, что своими атаками мы губим последнего русского солдата, стойкого и неустрашимого. Остальной солдат за три года войны вымер или переродился во что-то иное: подлое, гадкое, вороватое, трухлявое. Может, и народится еще русский солдат через три года или через сорок лет, неизвестно. Я никогда не хвастал перед тобою, Петя, и сейчас не буду, но расскажу один случай. Тогда нам надо было взять горушку, и мы не хотели терять много людей, а пошли на безумную хитрость. Я и еще четверо безумцев вышли перед фронтом противника с белым флагом и без оружия. Нас вышла встречать целая рота. И вот когда до них оставалось три шага, мы выхватили из-за поясов по два кинжала и пошли резаться. Они сначала опешили, потом навалились всей ротой. Наши тем временем скрытно подобрались под холм и пришили нам на выручку. Все четверо, бывшие со мной, погибли, а я остался жив, у меня были только порезаны штыками ноги. И даже после такой мясорубки я не сломался. А тогда, летом, у мельницы, что-то во мне надломилось. Чувствую, навсегда.

— Так отчего же ты снова воюешь? — недоумевал Петр.

— Я поверил большевикам, — будто ждал вопроса Ростоцкий. — Поверил в их большую идею, что можно создать всеобщую земную республику и не будет с того дня ни войн, ни революций.

— Ты называешь меня незрелым мальчиком, а сам веришь в эту утопичную чушь.

— Большевики не утописты, они прагматики. Они единственные, кто сказали: да, мы несем ответственность за все, что до нас наворотили предшественники. За войну, голод, разруху. Мы за все ответственны, и мы будем это разгребать. Да, Петя, верю им. Я не верю в бога, не верю в человека, но верю большевикам. Я ставлю на сволочь... Она жизнеустойчивей и на войне, и в быту.

Хвостову на секунду показалось, что кроме Ростоцкого в этом мире у него нет ближе человека. И жена, и оставленные в столице родители были дороги, но... Захотелось поделиться именно с ним самым сокровенным:

— Ты прав. Дело не в историческом моменте и не в немцах, будь они прокляты... В чем-то ином, в чем я и сам до конца не разобрался. Возможно, я больше не люблю свою жену. А вот причина этому...

По коридорчику торопливо и радостно прошаркали, после стука отворилась дверь, и старушка пригласила всех за стол. В сравнении с последними голодными днями в кухне закатали целое пиршество. Старушка расстаралась — была даже вишневая наливка. Виктория преобразилась, охотно отвечала на вопросы Ростоцкого, сама непрестанно спрашивала. Петр и бабушка иногда переглядывались в недоумении. Ева Каземировна украдкой кивала на стремительно пустевший графин с наливкой. Петру от этого вывода легче не становилось, раньше Вика на напитки так старательно не налегала.

Тихон скреб узкой деревянной лопатой, на которую мать раньше сажала хлеба, дорожку от хаты к калитке. Он разогнул спину, почесал под шапкой вспотевший лоб: вспомнились прошлые зимы, когда утихала метель и проезжали по улице окрестные мужики, проталкивали лошадьми заметенную дорогу, пробивали, утрамбовывали узкую борозду так, что саням не проехать, а только пешему пройти. Если верить бабке-покойнице, то раньше времена и погоды были куда суровее. Перед каждой историей старушка всегда говорила:

— Умру, слово мое не умрет. Послушайте, что скажу.

И говорила о том, что хаты раньше были все на один манер и в одну комнату. Добрую половину в хате занимала печь. В сенях, где зимой держали лошадь и корову, обязательно лепили «бовдурь» — широченную трубу, плетенную из лозы и обмазанную толстым слоем глины. Под крышей бовдурь соединялся с печным дымоходом. Внутри бовдурия была лестничка, по которой можно вылезть на крышу. Во времена бабушкиной молодости шквыря⁴ гуляла такая, что утром на улице можно было попасть только через бовдурь: низенькие хатки заметало по самые крыши, и откапывать двери в хату приходилось снаружи.

Тихон любил слушать бабку, многое запомнилось на всю жизнь:

— Вот ходишь ты, Тишка, в школу, писать-то, небось, только одной рукой умеешь?

Тихон недоуменно моргал, не понимая, каким образом еще можно писать.

— А вот в былое время, я его не застала, мне дед рассказывал, жил в Белогорье ученый человек, прозвание ему — Рылеев. Так он, Тишка, писал обоими руками и обоими ногами!

Мальчик делал широкие глаза, удивленно смотрел на бабушку и ждал, когда же она признается в шутке или расплывется в улыбке. Но старушка и правда ко всему прочему считала, что уровень образования зависел от умения зажать в конечностях по нескольку пишущих ручек.

Еще бабка любила рассказать о семье Бедряг, о старом генерале, уважавшем крестьянское хоровое пение. Он выходил на крыльцо, садился в кресло, а перед ним уже стояла бригада лучших певунов. Мужики грохали несколько песен, генерал утирал набегавшую слезу, велел выкатить бочку вина, и снова скрывался в доме...

— Потопчу-у-у! — вырвал Тихона из воспоминаний крик на улице.

По заметенной дороге скакал всадник. Бабы, шедшие с коромыслами к колодезю, испуганно ухали, сторонились, падали задами в сугробы.

— Тьфу, черт! — выругалась соседка Тихона. — Чего тебя на службе не прибило?

Верховой не глянул в ее сторону, осадил коня у заметенной калитки. Сдвинул на затылок папаху, расправил укрывавший подбородок шарф. Открылось лицо первого красавца в слободе — Андрухи Калинкова. Он взмахнул приветливо рукой с болтавшейся на запястье нагайкой, крикнул Тихону:

— Все гробещься, как кура в золе? Беги к волисполкому, наши со съезда приехали, губернских вестей привезли.

Секретарь земской управы близоруко прищурился, улыбнулся:

— Сейчас управлюсь, воды только скотине натаскаю.

— Давай, швыдэнько,⁵ — хлестнул лошадь Калинков и поскакал к следующему двору.

⁴ Снежная буря (*суржик*).

⁵ По-быстрому (*суржик*).

Тихон, наконец, откопал калитку, вернулся в дом за ведрами. У колодца бабы негромко обсуждали:

— Богомолец на пещеры проходил, Чеботыха с ним гутарила. Сказал: в Вороже крестный ход большевики расстреляли.

— Да не расстреляли, я сама от Чеботыхи слышала. Пулеметами стали сечь над толпой, крестный ход и разбежся.

— Слышала, да не услышала! — перебила ее рассказчица, хотевшая единовластно обладать страшной вестью. — Сначала-то сказали, мол, будут церкви запечатывать, монастыри разгонять, мощи на кладбища снесут и закопают. Народ загудел несогласный, для того и крестный ход собрали, чтоб властям доказать — мы молиться хотим. Тогда листовку на заборах расклеили: «Не бойтесь, все вернем, как было, храмов не тронем». А народ все одно собрался! Ну их с пулеметов и разогнали.

Подошел дед с заиндевелой бородашкой:

— Среди богомольцев тоже с оружием нашлись кое-какие, стали по Красной гвардии бить, а им на помощь самоходную машину прислали железную, с пулеметом. А тут сверх стрельбы в колокола монастырские вдарили! Семнадцать душ погибло...

Тихон стоял с пустыми ведрами и думал: «Если эти вести не брехня, что бы сказала бабушка-покойница на них? Поверила? Или, как я, услышав о Рылееве с четырьмя перьями в руках и ногах, лишь усмехнулась бы и осталась при своей правде».

В волисполкоме набилось народу. Были здесь должностные лица: неизменный с апрельских дней председатель волостной земской управы Остапенко, казначей, члены управы, переписчики, волостной комиссар милиции, делопроизводитель и секретарь — Тихон. Еще набилась масса фронтовиков, должностей пока не имевших: прапорщик Шашкин, матрос крейсера «Рюрик» Вася Белов, верхом облетевший всю слободу, красный от ветра и мороза Калинин. Самое главное, были здесь явившиеся со съезда Советов делегаты от слободы Белогорье: Анисим Галкин, Захар Кравцов, Сергей Сливкин и Мишка Сергиенко.

Когда вошел Тихон, Галкин рассказывал:

— В уезде совещались три дня. Будет дело, товарищи! Съехалось двести тридцать делегатов. Крюков — хват-мужик, оратор первейший. Его председателем исполкома выбрали.

— Дело сразу показал! — перебил Галкина Мишка Сергиенко. — Чумаченко-гад, эсер продажный, хотел заседание съезда сорвать. Как заорет из калидора: «Пожар! Пожар!» А Крюков всему съезду: «Нету никакого пожара! Это провокация эсеровская, они работу съезда сорвать хотят. Спокойствие, товарищи!»

— Эсеры после такого поворота, — опять заговорил Галкин, — собрались гуртом и вышли из зала. Всей делегацией съезд оставили.

Белов значительно высказался:

— Скатертью дорога! Нам с эсерами не по пути.

— Ну, а сила есть за большевиками? — спросил Калинин. — Эсеры, коль взбунтуются, есть чем их встретить?

Галкин ответил:

— Запасные, что всю войну в Острогжске стояли, почти все по домам разъехались, зато местные с окопов вернулись. Поначалу, в ноябре еще, из демобилизованных отряд сколотили в сотню штыков, а теперь уже четыреста бойцов в отряде, добрая половина из матросов, сплошные большевики. Конный эскадрон под командой Гофмана имеется в распоряжении Совета, пулеметная команда станцию охраняет. Революцию, в случае чего, защитим.

Эсер Остапенко, чувствуя, как власть мирно утекает из-под его ступней, все же осмелился спросить:

— А постановили на съезде чего?

— Много делов порешали, — отозвался Галкин. — Инструкций утвердили тьмушу!

Он стал переключивать в руках бумажки, зачитывая только заголовки: «Об организации Советской власти в уезде», «О распределении национализированных земель», «О национализации и охране ценностей из бывших помещичьих имений»...

— Про такое нас особо не проинструктируешь, — попыхивая папиросой, проговорил бывший прапорщик Шашкин. — На всю волость национализированная земля только та, что у монастыря отобрали, не разгуляешься. Да и помещичьих усадеб в волости не имеется.

Вновь заговорил Сергиенко:

— Самое главное, товарищи, назавтра объявляется волостной съезд Советов! Будем переизбирать и утверждать новую законную власть. Сегодня до темна нужно оповестить всю волость. Кто у нас здесь из Карабута? Кирьяков, отвечаешь за сбор карабутчан. Фронтовиков зови, они мужики бойкие, большевицкую волю знают и нас поддержат. Кто из Кирпичей? Волохов, то же самое. Из Витебщины? Литвинов. Из Кошолопова?..

Сергиенко продолжал выкликать название хуторов и деревень, назначать посыльных, а Остапенко удрученно ушел к себе в кабинет.

Тихон шел к дому на пару с Шашкиным. Секретарь волисполкома видел затененную мысль бывшего прапорщика, стегая хворостиной по наметенным шапкам снежных барханов, спросил у него:

— Придешь на съезд, Михаил Федорович?

— Не знаю, Тихон. Должно быть, приду.

— Что-то ты без уверенности. Не рад, что все меняется?

— Рад, отчего же...

Шашкин некоторое время молчал, потом заговорил:

— Знаешь, Тихон, я на фронте думал, вернемся — заново жить начнем. Только б войну прикончить. А теперь живу, как в долговременной побывке, и сам срока ей не знаю. Может, завтра, а может, через месяц снова за оружие браться.

— С чего так решил? С кем воевать-то? — беззаботно хлестал снег Тихон.

— Ты не заметил, как в слободе революцию встретили? Я одним из первых с фронта вернулся, дольше всех среди вас, мирных, живу. Ведь большевиков только бедняки с восторгом встречают. Середняк — сдержанно, а кто побогаче середняка, так и вовсе враждебно. Большевики — власть рабочая. У нас в слободе с пролетарием слабо: грузчики на маслобойке, на мельнице, да еще рабочие на птицеоткормочном у Слюсаревых. Вот и весь рабочий. Да и они еще полукрестьяне, с землей до конца не порвавшие. Из батраков и малоземельных за войну много в города выехали, там осели. Как ни крути, а война толчок промышленности дала, крестьянин-бедняк ряды рабочих пополнил. Вот оттого в слободе прочную опору большевикам не найти. Активисты наши, конечно, молодцы, и Галкин, и Белов, и Калинин. Но увидишь, ширины за ними нет.

Тихон растерял легкую походку, больше не стегал снег. Он на секунду привстал, спросил у Шашкина негромко:

— А про то, что Иващенко говорит, — веришь?

— Будто в Питере рабочую демонстрацию расстреляли? Нет, неубедительная выдумка, не верю. Пролетариат — главный локомотив большевиков, они против себя народ настраивать не будут. Да и сомневаюсь я, чтоб рабочие «учредилку» защищать кинулись, скорее по буржуям местным стреляли, это для них Собрание — отрада и улада, а рабочий диктатурой доволен, тем более, что она их диктатура, пролетарская.

— А даже если буржуи? — повысил голос Тихон. — Ведь сами большевики против расстрелов стояли, жалко им было мирные шествия. Теперь, когда власть взяли, и жалость выкинуть на обочину можно?

— Ну а если демонстрация не мирная была? Что если и в Красную гвардию стреляли? Нас ведь с тобой там не было! — тоже разгорячился Шашкин. — И еще одно скажу: поступай Временные, как нынче большевики, до сих пор они во власти были бы, а может, и войну уже окончили, дожав немца.

Тихон переломил хворостину пополам, зашвырнул ее в снег и, не простившись с Шашкиным, ушел от него прочь.

Он промучился полночи в бессоннице, то оправдывая действия новых властей, то убеждая себя, что это выдумки и слухи.

* * *

Волостной съезд, хоть и собранный на скорую руку, оказался широким. Площадь перед управой с утра запрудила толпа. Собирались кучками, обсуждали, спорили, агитировали. Бродили праздно от кружка к кружку, подслушивали, с ленцой позевывали. Фронтвики стояли заодно: кто бы ни был новый председатель волисполкома, лишь бы из большевиков.

На крыльце показались делегаты, прибывшие накануне со съезда в Острогожске. Галкин прокричал невнятное, над кучками и толпами немного поутихли споры, потом попросил тишины. Еще с полминуты стоял над площадью спадавший гомон — добалакивали, что не успели добалакать.

— От хуторов и деревень кандидатами выступают по одному человеку! — с клубками пара вытолкнул Галкин слова. — От Белогорья — десять кандидатов. Потому как центр волости, и народу у нас в десять раз больше, чем в любом другом месте. Тут вопрос возник, как голосовать будем? Бумажками или руками поднятыми?

Из толпы быстро ответили:

— Давайте бумажками! Сказано: голосование должно проходить тайным образом.

Делегаты недоуменно переглянулись, явно рассчитывая на другой оборот. Из людского озера полетели неуверенные возгласы:

— А ежели я не знаю этих кандидатов? Кого в них назначили?

— Во-во, только с вечера про съезд сказали, а теперь уже и голосуй. Кто в кандидатах-то?

Делегаты с готовностью хотели ухватиться за эту мысль, Галкин крикнул:

— Вот мы и хотели предложить: я называю человека, а вы руку подымаете, согласные, мол, за него или нет. Как раньше на сходах делалось.

Галкина опять перебил уверенный голос из толпы:

— Список кандидатов на крыльце повесьте! Все равно мужикам туда подходить за бланкой.

Тихона усадили переписывать на листок фамилии кандидатов, остальные работники управы горюливо рвали бумагу узкими полосками, готовили «бюллетени». Писарь исполнял работу механически, еще не угасла в нем ночная волна сомнений. Не выходил из головы случай с осенних выборов: до сегодняшнего дня его одинокий голос за меньшевиков воспринимался Тихоном как гордая независимость, хоть и молчал он о своем выборе, хоть и посмеивались до сих пор в управе, вспоминая неизвестного дурака, так странно проголосовавшего. И вот теперь он понимал, что будет и дальше одиночкой-посмешищем, если продолжит терзать себя лишними мыслями. Он всего лишь писарь, пересидевший на своем мес-

те уже третье правительство (считаю царя, первый кабинет Львова и временщика Керенского), и не дело малым людям толковать петербургские проблемы, у больших людей — большие дела. Раз идет слобода за большевиками, так и ему туда дорога.

Урну, заведенную в сентябре, торопливо искали в хозяйственных каморках управы, заглядывали в пожарный сарай, потом махнули рукой: «В подвале, небось, барахлом заваленная», и вместо нее поставили круглую картонку от шляпы. Хотели прорезать в крышке щель для бланков, но испортили ее и оставили коробку не накрытой. Сюда же на стол водрузили все чернильницы и перья, что нашлись в управе. Из работников, делегатов уездного совещания и других неравнодушных добровольцев выстроили живой барьер, отгородив им приготовленный для выборов стол. В начале «коридора» стоял Тихон и выдавал каждому по бумажке, вносил имя избирателя в отдельный список, поначалу сверялся, чтобы никто не прошел вторым кругом, потом просто водил затуманенным взглядом по спискам людей, делал вид, что проверяет.

Галкин, Белов, Калинин и Сергиенко попеременно подходили к столу, будто за делом, иногда успевали прочесть фамилии на бумажках прежде, чем они исчезали в «обезглавленной» картонке. Тревожно гуртовались вместе, тихо обсуждали:

— Степан Мыщиков, с Погореловки.

— И у меня Мыщиков.

— И при мне за него голосовали.

— Хреново дело. Он хоть и фронтовик, а большевистской надстройки у него нема.

— Мужики гуторили, будто нахвтался он в Украине тамошних идей...

— За самостийника пишут — аптекарская работа. Сколько ж он спирту на это дело извел?

— И когда успели-то? Только вчера про съезд объявлено было. Не сработала наша задумка на скорость.

— Видать, давно с аптекарем спелись, мужиков подмазывали, в один вечер такого не спроворишь.

Все четверо скрылись в управе, как будто провернули там какие-то рычаги — и появился перед толпой еще не голосовавших, ожидавших своей очереди избирателей голосистый и «сторонний» оратор:

— Мужики, за кого голоса отдаете? Самостийник же вас в Украину тянет! Мужики, даже Киев за большевиками! Кого вы пишете?

Из толпы недовольно отвечали:

— Сегодня за большевиками, завтра еще за кем.

— Вчера временные были, теперь большевики, завтра еще какая-нибудь чертовня. А нам жить, пахать надо. Все одно, что Москве, что Киеву кланяться, лишь бы сеять давали.

На подсчете голосов присутствовали все кандидаты, вся управа, кроме Остапенко. Он собрал вещи и вышел из кабинета председателя еще во время выборов, пока глаза и думы крестьян были заняты другим. Тихон в должности секретаря вынимал из картонки по одной узкие бумажки, зачитывал фамилию, а переписчик Длинный вносил ее в протокол. Потом Тихон передавал бумажку дальше, она шла по рукам от кандидата к кандидату, убеждая их в отсутствии обмана. Чаще других звучала фамилия «Мыщиков».

По углам комнаты волостных переписчиков иногда слышались сторонние разговоры:

— Что там в Брест-Литовске слышно?

— Троцкий вроде армию распустил.

— Кого распускать-то? Вон она, вся армия, по домам.

— Да нет, говорят, еще немного в окопах сидело, а теперь все подчистую разогнаны.

Калинков этих разговоров не слышал, следил за кочующими по крышке стола узкими бюллетенями, едва заметно улыбался.

ГЛАВА XII

По рынку колыхались взгляды, падали с товара на товар, меж санных рядов толкался народ, напоззали бабьи платки и кацавейки на мужичьи шапки с тулупами. Мельтешили под ногами ребятишки, шла бойкая торговля, приценка. Спорили о качестве, смотрели на свет, подносили к покрасневшим на морозе носам, пробовали на зуб. На рыночную площадь, теперь переименованную в площадь Парижской Коммуны, слеталась стая ворон, сбегались дворовые собаки: на просыпанные хлебные корки, на теплый лошадиный помет, на объедки и ненужные потроха.

В стороне, где народ пришел не столько за товаром, как языком почесать, обсуждалось давешнее и давнишнее:

— Пошло-поехало!.. Раньше кур-гусей воровали, теперь время воровать почли.

— Ты про что ль?

— Не слыхала? Нонеча не второе число, а пятнадцатое.

— Как так? Это, знать, и Сретенье тринадцать дней назад было?

— А звонили сегодня, служба Сретенская была.

— В церковном численнике все так и остается. Был праздник в этот день, так ему и быть, только число съехало.

— Батюшкам видней, знать, так и надо оставить.

— А день недели хоть какой?

— Не поменялся, пятница.

— Тридцать первое — среда была, вчера — четырнадцатое, четверг... Эх, ловко у них все. Ровно две недели, как сбрило.

— Куда ж остальное запропало?

— Большевики снесли.

— А им на кой?

— Немцу отдали. Берите, говорят, тринадцать ден, а более с нас, голоштаных, и взять нечего.

— С Манькой из Одинцовского дома балакала. Встали, говорит, все поутру, и кухарка, и конюх ихний, и сама Манька, глядь, а хозяевов нету. И «глухарь» у камина разобратый.

— И к чему это?

— Утекли Одинцовы-то, к другой земле побежали. А в «глухаре» денежки припрятаны были, от так. Давно они беду чуяли да сбережения ховали.

— Добегут ли до других земель-то? В Лисках еще до Нового года, говорили, таковских местный совдеп перестривает.

— Резонно, на станции их хватать, путя им на юг чтоб перешибить. Беги, коль не в мочь, а денежки народные оставь.

— Да если б «беги». А то, говорят, обобравши, их за вокзалом так и стреляли. Из Чеки, из местной.

— Надо и за другими поглядать, чтоб не убегли.

Ирина села рядом со свекром в плетеный коробок.

— Ну, дочка, докупила ситчику?

— Докупила, батя, а все равно жалко. Два глечика сметаны за отрез сторговал, да еще кусок масла в свой кулак выпросил, шельмец. Куда ж это видано?

— Дорогогато, да, — с досадой вертел головой свекр. — Ну, по нынешнему времени — ничего. Лучшее заплатить да урвать. Скоро ничего не будет. Хорошо, хоть Митрий наш иголок с фронту притянул. Вот и этот солдатик, поди, награбленным торгует.

— Ворованный ситчик, — согласилась Ирина. — Так и сказал: на станции какой-то вагон этого товару расхватили.

Проплывали по сторонам возки-бегунки, розвальни, сани, пахло конским навозом, дымом из печных труб и торгуемой здесь же снедью.

— Пошьешь, дочка, Степану да Тишке по рубахе. Хватить обоим, а?

— Должно б. Тишке еще мал совсем, ему немного надо.

— Ты подол-то ему подлиньше делай, все одно, как платьице на девчущку.

— Знаю, батя, я ж Пашку нашего обшивала.

— Ну не лезу, не лезу, — тронул резвее лошадей Григорий Леонтьевич, довольный выгодным товаром и сметливой невесткой.

Возок от рынка вывернул на Красную улицу, за год до войны ставшую Романовской, а теперь переименованную в Революционную. Фасадная улица в городе, его лицо и гордость. Самая широкая, самая богатая, дорогие дома на ней. И знаменитая, конечно. Тянется через нее Тифлисский тракт. Кто только не ездил здесь в свое время. Всем, кому на Кавказ служба или необходимость была, Красная улица открыта. Грибоедов по ней проезжал, Лермонтов тоже. Пушкин на пути в Арзрум в коляске протарахтел, Жуковский в компании наследника и всей свиты изволили заночевать на постоялом дворе.

С обоих боков улицы бульварную дорогу от тротуара отделяли молоденькие липки, прореженные где телеграфным столбом, где афишной тумбой. На перекрестках свешивали витые кованые головы высокие фонари, окруженные оградками из четырех колышков.

Ирина проводила глазами дом бывшего градоначальника Одинцова с куполом домово́й церкви на углу; запахнутые ставни торгового дома Зайцева, Ольгинскую женскую гимназию с шатровыми жестяными кровлями. Ирина давно догадалась, что едут они не домой, а, скорее всего, к брату свекра, Захару Леонтьевичу.

У Казанской церкви возок их свернул к Дону. Григорий Леонтьевич остановил лошадь у каменных добротных ворот, и дом за ними был такой же основательный, кирпичный, надежный.

— Пойдем, дочка, погреемся в братовых хоромах, — не без гордости позвал свекр, приматывая шлею к вмурованной в кирпич скобе.

Хозяин вышел к порогу, извинился за домашний вид, обнял и поцеловал брата, смело привлек на себя новую родственницу и тоже расцеловал в обе щеки. Пахло от него душистым табаком, малиновым вареньем, теплом прогретого дома.

— А мы как раз чаевничаем, из церкви только пришли. Садись, родня, с нами, — помогал он снять Ирине ватную кацавейку.

Ирина успела окинуть его быстрым взглядом: «За такое “домашнее” у нас бы никто не извинялся». Был на Захаре Леонтьевиче свитер с горлом, батистовые свободные штаны, крупной вязки шерстяные носки. Появилась хозяйка дома — Наталья Павловна, степенная, приветливая, широколицая. Поправив платок на плечах, стала звать к столу.

На столе дымил румянобкий самовар, плавился в блюде слиток коровьего масла, сверкало в вазочке варенье. Ирина смотрела на братьев: почти совсем не похожи. У свекра смуглота и волос темен, Дмитрий от него цыганскую породу перенял. Захар Леонтьевич со светлым волосом, ус тоже светел, с прокуренной рыженкой, кожа на лице смугловата, но не той крестьянской темнотой, добытой на хлебных черноземах, впитанных с потом и кровью, а медно-красным отливом, заработанным на отраженных с реки солнечных лучах, на осенних жгучих вет-

рах. Захар был старше Григория на пару лет, но выглядел в свои сорок семь значительно лучше крестьянствующего брата.

Ирина боялась, что если долго будет молчать, ее примут за дикарку, так что, не затягивая, спросила у Натальи Павловны:

— А где ж дети?

— После службы на Дон укатились. Митька коньки нацепил, Колька санки взял, а девчата наши за ними досматривать пошли.

— Замуж не собираются?

— Не знаю, Ирина, пока молчат. Время, говорят, не подходящее. Да и рано, ты вот выскочила — не жалеешь?

Ирина скромно ответила:

— Нет, чего ж плохого.

— А мой гимназию закончили, младшей повезло — в позапрошлом году выпустилась, а в минувшем уже выпуска не было... Так, о чем я? Мои говорят: брак — не главное для женщины, главное, найти свое место в жизни. Они на это могут долго рассуждать... Тебе вот сколько? Шестнадцать. Я на десять лет тебя старше была, когда Захар Леонтьевич меня брал.

Говорила она по-доброму, без укора, как простую данность, плавными движениями наливала чай и пододвигала угощение.

Братья на другом конце стола обсуждали уездные новости:

— Что с новой властью? Чего слышно? В пароходстве, что говорят?

Григорий Леонтьевич привык заглядывать на старшего брата снизу вверх, да еще положений обязывало: ведь Захар — целый капитан парохода, богатых людей возил, с местными купцами знается, с инженерами, чиновниками, духовенством. Захар, видя, что для брата он важная птица, степенно начал:

— В городе до сих пор городская Дума делами распоряжается, а в уезде — земская управа. Там купцы, землевладельцы в основном. На московскую бумажку наплевали, вынесли решение: советской власти в уезде не признавать. Но по уезду крестьяне сами на сходы собираются, решают к весне всю землю из частных владений забрать, разделить между собой.

— У нас был сход, — жадно слушал Захара брат. — Фронтовики выступали. Склоняют нас за новую власть. Грозятся всю землю у «отрубников» и церкви в пользу общества забрать. Законно это, Захар?

Хозяин дома полез в тумбочку за газетой.

— Вот тебе документ, Гриша. Хочешь, вслух прочту?

Он не протянул газеты брату, а расправил на коленке первую страницу «Правды».

— От семнадцатого января нынешнего года, двухнедельной давности, а если по новому летоисчислению, так уже почти месячной.

Пробегая глазами текст, Захар выдавал вольный крестьянский перевод:

— Декларация прав трудящихся, в ней постановление: частная собственность на землю отменяется. Фабрики, заводы, банки, рудники, железные дороги и другие средства производства и транспорта переходят в собственность государства. Для уничтожения паразитирующих слоев общества объявляется всеобщая трудовая повинность. Понимаешь, про что здесь? — потряс Захар развернутой газетой.

Григорий утвердительно закивал.

— А я тебе все равно разъясню. Нарцев, мой бывший начальник, судовладелец и директор Павловского городского банка, чтоб в паразитирующих слоях не оказаться, теперь должен наравне со всеми вламывать. По всей стране их, дармоедов, работать заставляют, а у нас хоть и вышел декрет «О национализации морского и речного флота» — ничего не поменялось. Как владели Нарцев-Епифанов-

Кутяин Верхне-Донским Пароходным Товариществом, так и остались частновладельцами. Власть без силы — не власть.

Григорий Леонтьевич задумался, почесал нестриженую макушку, неуверенно рассуждал:

— За Доном, в Белогорье, там потихоньку большевики власть к рукам прибирают. Скоро ль у нас случится?

— Скоро, брат. Четвертого дня в Реальном училище открылся крестьянский съезд Советов. Со всех двадцати семи волостей собралось в актовом зале человек триста. Заскакивал и я туда из любопытства. Постановили: страну от развала и гибели только народная власть спасет — Совет крестьянских и рабочих депутатов. А третьего дня уездный Совет избрали, по пять человек от волости. Вот если этот Совет правильно за дело возьмется, вытрясут у Нарцева его пароходы вместе со всем добром, еще и из штанов в придачу.

Ирина и Наталья Павловна между собой не говорили, слушали мужчин. В очередной раз Ирина обвела взглядом жилище: на окнах дорогие шторы толстого сукна, мебель добротная, не из случайных рук деревенского самоделки, посуда в шкафу, постель с чистым бельем, полы... настоящие дощатые полы, а не глиняная доливка⁶, как в каждой деревенской хате. На полке в углу — фотография шестилетней давности: благородное семейство расселось вокруг стола в оборудованной под богатую квартиру фотостудии. Захар Леонтьевич в белоснежном двубортном кителе с орлеными пуговицами, в фуражке со значком на тулье. Кажется, в этой же форме речного капитана приехал он к ним на свадьбу. Наталья Павловна в платье со вставками на груди и легкой косынкой на плечах. Митька-семилеток сидел на стульчике, ноги перекрещены, на голове удалая «фуранька», перепоясан ремнем с широкой бляхой, а на ней двуглавый орел. Колька, совсем кроха, стоит между ног у Захара Леонтьевича, одной рукой держится за отцовы штаны, другой зажал игрушку, ботиночки с бантиками, поверх белой сорочки накинут прямоугольный морской воротничок, на голове — огромный берет с вышивкой вместо кокарды. По другую сторону стола — две дочери, обе в форменных гимназических платьях с белыми фартуками, обе похожи на мать.

Ирина взгляделась в бантики на ботиночках Кольки. Ему на фотографии не больше двух лет. Вспомнила свою первую обувку: разбитые и сморщенные материны сапоги. Огромные, мужицкие, в таких только до скотины бегать.

Девушка негромко спросила:

— Дядя Захар, а вам плохо при Нарцеве живется?

Все трое уставились на Ирину: свекр обалдело, Наталья Павловна немного возмущенно и даже с вызовом, Захар Леонтьевич — с промелькнувшей в глазах лукавинкой.

— Нет, при Нарцеве мне хорошо жилось, — обвел он полную чашу дома широким жестом. — А ты думаешь все, кто революцию делали, им плохо жилось? Министры, что во Временном заседали, они, что ли, в землянках жили? Или большевики, что про бедных рабочих заботу пекут, они по заграницам маялись, хлеба не доедали? Нет, милая. Пришла революция, тут уж не зевай. Не в деньгах все дело, не в достатке. Ты думаешь, самый последний матрос с моего корабля хуже твоего свекра живет? Однако забрать теперь эти пароходы, как и все речное хозяйство, я у Нарцева должен, потому как смута в стране. Дележ, грабеж и пьянство! Вот нынче что. А не свобода, равенство, братство, как они талдычат.

Он немного приостановился, добавил более спокойно, без бывшего пыла:

⁶ Земляной пол, обмазанный смесью глины и коровьего навоза (*суржик*).

— У нас с ними борьба классовая... И не потому, что у них было все, а у нас ничего.

Захар Леонтьевич не договорил, но Ирина уже боялась что-либо спрашивать, вместо нее подал голос свекр:

— А отчего ж тогда?

Захар ждал вопрос и выдал смачно и подготовленно:

— Потому, что у них было больше, чем у нас.

Прощаясь, Ирина долго благодарила за угощение, даже слегка поклонилась и просила не держать зла, если обидела невзначай своим вопросом. Захар Леонтьевич весело моргнул ей глазами, ласково обнял в ответ, снова поцеловал, как при встрече. Наталья Павловна любезно улыбалась, но внутри себя скрывала некую оценку.

На улице гулял февраль-бокогрей: сверкал, теплил, подъедал тонкий снежок на ставнях, выпаивал круглые «иллюминаторы» в окнах, выходивших на солнечную сторону. Зима, и без того сиротская, малоснежная, прощалась с неглубоким покровом. Свекр ругался весь путь, пока ехали к Павловску: «Хлебом разорение от такой зимы, зато дороги сказочные».

По-весеннему чирикали воробьи, бились у церковного треугольного портика. Дождем в этом месте оббило штукатурку, и стайка серых птиц уселась на портик, ковыряла кирпич клювами, чего-то себе добывая. Тощий дьячок приставил к стене лестницу, махал метлой, пытаясь согнать воробьиную банду:

— Кыш, разорники!

Григорий Леонтьевич впервые от ворот брата раскрыл рот:

— Эх, живучее племя! Знаешь, чего клюют?

Ирина не знала.

— Кирпич-то на яичных желтках замешан... Кормятся, шукают поживу в год-лодное время.

На околице Павловска собаки разрывали выброшенные свиные потроха, иногда дрались с лендой, сильные рычали, слабые повизгивали. Спускались с веток вороны, остерегаясь, клевали то, что выпадало из потрохов. Впереди замаячил мост через Осередь.

Вчера с вечера готовились в путь: Дмитрий насыпал в оклунки просо и пшено, Ирина со свекровью раскладывали по крышкам сметану, увязывали масло в чистую холстину. Оклункок шел лучше, как разменная монета, в отличие от полного мешка. Свекровь заботливо уложила последний узелок с творогом, украдкой проронила:

— Жалко службу Сретенскую пропущу, не исповедовалась давно.

Григорий Леонтьевич, сидя у печки, осматривал упряжь, не глядя на жену, сказал:

— А ты на рынок не мылся, с Иришкой поеду. Ей всех обшивать, ей и за материалом ехать. Нехай обмеряет вас, рассчитывает, сколь кому надо.

Свекровь поначалу обмерла, поглядела ошарашенно на Ирину, потом перевела взгляд на мужа, ждала, что он тоже посмотрит. Григорий Леонтьевич деловито расправлял шлею:

— Иди, Дунька, говей, готовься к исповеданью.

Еще на выезде Ирина видела нехорошие переглядывания, но то было почти потемну, и встречных было мало, а теперь, когда весть уже облетела всю Дуванку, она натыкалась совсем уж на корыстные взгляды. Бабы буравили завистью, наклонялись к уху соседки и злословили:

— Молодую с собой на сани посадил, а она, гляди, и глаз не подымет, ишь пошница, ишь монашка.

Ирина отворачивалась, кусала губы, думала: «Видит ли эти смешки и пересуды свекр? Или, может, они ему по сердцу? Может, рад он даже таким сплетням? Старики говорили, что раньше, когда парня в солдаты забирали, с молодой жинкой свекр жил, чтоб она на стороне, в чужом дворе не искала. Слава Богу, что нынче не так».

Григорий Леонтьевич бабьих взглядов и недомолвок не замечал, думал об услышанном, складывал в кучу, бросал взгляды на росшие за Доном Белогорские холмы: как там, у соседей, и вправду настала новая власть? В ладах ли с народом?

ГЛАВА XIII

Мирные переговоры в Брест-Литовске из вялотекущих становились горячими. Теперь здесь первую скрипку играла украинская делегация, а не посланники Петрограда. 4 февраля войска полковника Муравьева выбили Раду из Киева, Троцкий принес главе немецкой делегации Кюльману телеграмму с этой важной новостью и на словах добавил: «С кем вы ведете переговоры? У правительства УНР нет столицы, нет армии, нет и самой страны. Вся ее территория — это дом в Брест-Литовске, который вы им предоставили».

В ответ делегаты УНР и представители германского блока быстренько состряпали текст мирного договора, который в веках обрел имя *Brotfrieden*⁸. Украина обязалась в срок до 31 июля поставить Германии и Австро-Венгрии 1 миллион тонн зерна, 400 миллионов яиц, 50 тысяч тонн мяса рогатого скота, а также сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и другое сырье. В обмен на это Украина получала от обеих империй военную помощь против советских войск. И еще делегации УНР удалось выторговать секретное обещание о создании автономного региона в Австрии, в который в будущем войдут все украиноязычные подданные, а также спорная территория Подляшья была решена в пользу украинской стороны. Но что толку в том, кому принадлежит кусок территории, в чей национальный цвет он окрашен, если по факту на нем стоит германский армейский сапог?

Не успела весть о подписании мирного соглашения с Центральной радой достигнуть Берлина, как Вильгельм II достал из тайника дерзкий призыв, посланный из царскосельской радиостанции, и смело обнародовал его в надежде сплотить своих верноподданных перед новым коварным монстром, нависшим с Востока:

«Сегодня большевистское правительство напрямую обратилось к моим войскам с открытым радиообращением, призывающим к востанию и неповиновению своим высшим командирам. Ни я, ни фельдмаршал фон Гинденбург больше не можем терпеть такое положение вещей. Я категорически требую тотчас же предъявить советской делегации ультиматум о принятии германских условий мира с отказом от прибалтийских областей до линии Нарва — Псков — Двинск».

На очередной встрече с Троцким Кюльман спросил, готовы ли большевики принять условия мира? Нарком иностранных дел разразился речью:

«Мы выходим из империалистической войны, где притязания имущих классов явно оплачиваются человеческой кровью. Мы ожидаем близкого часа, когда угнетенные трудящиеся классы всех стран возьмут в свои руки власть, подобно трудящемуся классу России. Мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Мы извещаем об этом все народы и их правительства. Мы отдаем приказ о полной демобилизации наших армий. В то же время мы заявляем, что условия, предложенные нам правительствами Германии и Австро-Венгрии, в корне противоречат интересам всех народов».

⁷ Власть (*суржик*).

⁸ Хлебный мир (*нем.*)

Кюльман, порядком уставший за полтора месяца от этих нераскончаемых речей, со скучающим видом заявил, что отказ значит лишь одно: прекращение перемирия и возобновление войны. Троцкий и тут не подкачал:

«Ни один честный человек во всем мире не скажет, что продолжение военных действий со стороны Германии и Австро-Венгрии при данных условиях являются защитой отечества. Я глубоко уверен, что германский народ и народы Австро-Венгрии этого не допустят».

Кюльман глядел на своего оппонента с жалостью: «Неужели он так наивен? То ли младенческая глупость, то ли дьявольский иудейский расчет, которого мне никак не раскусить?.. Неужели ты не знаешь, что в политике не место всей той ерунде, что ты передо мной наговорил? Какие честные люди мирового сообщества? Ты и вправду думаешь, что мы не посмеем наступать, оглядываясь на общечеловечность?»

Вслух Кюльман произнес с наигранным удивлением:

— У вас теперь нет армии?

Затем изобразил ироничную улыбку, значившую — у вас ее с самой осени нет, и добавил:

— Но это не отменяет того факта, что она есть у нас.

Советская делегация демонстративно покинула заседание, а скоро и сам Брест-Литовск, удалившись в Петроград за очередными инструкциями. В тот же день Троцкий послал телеграмму Главковерху Крыленко, в которой потребовал немедленного приказа по действующей армии о прекращении состояния войны с державами германского блока и о всеобщей демобилизации. Крыленко утром следующего дня такой приказ издал.

Нарком по иностранным делам с упоением читал в поезде кипы большевистских газет, где с ликованием поздравляли его и радовались тому, как он лихо отбрил злых империалистов.

Германские умы надолго уселись за длинным столом. Что делать? Мощным ударом захватить Петроград и Москву? А вдруг поднимется толща русского, пока не сокрушенного, в отличие от армии, народа? Вдруг появится, как триста лет назад в Нижнем Новгороде, новое правительство? Крепкое, национальное, способное начать настоящую войну. Народ его поддержит... Снова образуется Восточный фронт — и прощай, мечта о переброске освободившихся дивизий на запад, во Францию.

Слово взял начальник штаба фон Людендорф, по влиятельности — третье лицо государства после кайзера и Гинденбурга:

— Войну на востоке стоит закончить по-военному. Если и дальше терпеть выходы кучки безоружных анархистов, то и Антанта может подумать, что у нас уже больше нет сил.

По условиям перемирия, военные действия могли возобновиться только через семь дней после его разрыва. И немцы честнейшим образом выждали нужный срок, но и лишней минуты терпеть не стали: 16-го числа генерал Гофман объявил советскому представителю, оставленному в Брест-Литовске, что возобновление войны начинается в ноль часов и ноль минут 18 февраля.

Все, чем могло ответить советское правительство, — заявление решительного протеста.

Накануне немецкого похода Леопольд Баварский выступил перед солдатами через радиобращение:

— Исторической задачей Германии издавна было установить плотину против сил, угрожавших с Востока... Теперь с Востока угрожает новая опасность: моральная инфекция. Теперешняя больная Россия старается заразить своей болезнью все страны мира. Против этого мы должны бороться.

Руководство УНР до последнего пыталось решить вопрос германского вмеша-

тельства «малой кровью»: передачей им от Австро-Венгрии легиона «сечевых стрельцов», набранных в Галиции, Закарпатье и Буковине, а от Германии ждали переподчинения «Синей дивизии», сформированной из украинцев-военнопленных. Пятьдесят тысяч хорошо экипированных и обученных украиноговорящих солдат должны были перевесить чашу в пользу утекающих на запад растрепанных отрядов УНР. Но не для этих благородных целей страны Четверного союза подписывали с новорожденной Украиной мирный договор.

Немецко-австро-венгерский кулак в 29 пехотных и четыре кавалерийские дивизии утром 18 февраля устремился через украинский участок линии Восточного фронта. Еще накануне вечером в окрестностях Бердичева шла вялая перестрелка частей Запорожской бригады с красногвардейскими отрядами Кивкидзе, а уже через два дня войска УНР, подпираемые стойкими железноголовыми немцами, отбили у красных Луцк и Ровно. Гражданская война между братьями-славянами снова обернулась здесь утихшей было Великой войной.

Немцы быстро убедились, что на землях, по которым они шагали у Центральной рады, нет ни власти, ни сторонников. Да и самой центральной власти нет, а есть лишь отдельные области, уезды, города и села под началом атаманов, чьи вооруженные шайки совершают налеты на соседей, как во времена феодальной раздробленности. Но там, где ступала немецкая пята, скоро устанавливался порядок, взаимные набеги на села и города затихали. Житель, за полгода безвластия стосковавшийся по тишине и порядку, с радостью встречал украинский трезубец, хоть и зажатый в лапе хищного германского орла.

Австро-венгры перешли приграничные реки Збруч и Днестр, с ходу заняли города Каменец-Подольский, Хотин, наступая вдоль Львовской железной дороги, быстро заполнили Подолию, встретив небольшое сопротивление красных фронтовиков у Винницы и Жмеринки. На севере через порубежье украинского и белорусского Полесья беспрепятственно шла по линии Брест — Гомель — Брянск армейская группа генерала Г. Гронау.

Голова от таких успехов закружится у кого угодно, тем более у бывших профессоров, преподавателей истории, коммерсантов и писателей, ныне являвших собою правительство Украинской державы. Кроме требований к Совету Народных Комиссаров о немедленной очистке всей территории Украины от красногвардейских войск и уплаты контрибуции за ведение войны, Центральная Рада теперь предъявляла и иные — передачу новых российских земель: Кубани, Крыма, Черноморской и Ставропольской губерний, Таганрогского округа, пограничных уездов Воронежской и Курской губерний, всего Черноморского флота.

В солнечном блеске первых мартовских дней на улицах Киева моргали блицами гладко отполированные германские каски, сияющие пуговицы мундиров и поясные бляхи, кирзовая кожа начищенных сапог и радостные лица желанных гостей, успевших убедиться в украинском хлебном изобилии.

— Новые варяги... как и тысячу лет назад.

— Земля наша велика и богата, порядка меж народами нет. Придите и владейте нами.

Петр Хвостов, стоя в толпе, невольно подслушивал разговор двух гимназистов. С другого бока совещались офицеры, снова безбоязненно надевшие форму и вышедшие на улицу:

— Немец — смертельно раненный зверь. Он раскрошил свои зубы о бетонные форты Вердена, ему отрубили правую руку на Волыни, а левую на Сомме. Его кишки развел костлявый голод, и украинский хлеб не залечит желудочную язву германской экономики.

— Да, раскрошил он... гляди, какие рожи наеденные, так и лоснятся от украинского масла.

Форму офицерам запретили носить их бывшие солдаты — красногвардейцы-большевики и самостийники-шовинисты, те самые, с кем они бок о бок отрубали кайзеру правую руку на Волыни, а снова разрешил носить ее тот самый «смертельно раненный зверь».

Нарядные барышни, господа в пенсне и шляпах, гимназистки, стискивавшие в волнении ладони у себя на груди, все говорили одновременно, обстоятельно и празднично:

— Немцы теперь наведут свой ordnung⁹.

— Как Киев преобразился! Мусор с улиц наконец-то убрали! Вокзал до чего загажен при москалях был, а и его отчистили.

— Да, нашими руками. Бабы мобилизованные трое суток его мыли.

— Вот я и говорю: все мы можем, но плетка над нами нужна.

— Немецкая плетка-то.

— Все равно чья, лишь бы дворники работали, магазины торговали и поезда вовремя ходили.

— Смотрите, пленных ведут!

За колоннами железноголовых, сечевых, запорожских и гайдамацких шла жиденькая цепочка полоненных красногвардейцев. Петр лихорадочно всматривался в лица: «Нет, Ростоцкого среди них не будет, не такой он дурак, чтоб в плен попадаться».

С появлением Ростоцкого внутри у Петра что-то отщелкнулось, он с нетерпением ждал редких визитов фронтного товарища, ведь когда в город вошли красные, Ростоцкий покинул их квартиру. Петр смотрел на уверенного, знавшего свой путь человека, немного завидовал ему и надеялся, что сможет снова жить, чувствовать и, возможно, любить, как и раньше.

А Ростоцкий при встречах делился деньгами из жалования, выкладывал на стол, не обращая внимания на протесты бабушки, часть продуктового пайка и неустанно благодарил за свое спасение. Бабушка ставила на плиту кофейник, осыпала гостя взаимными любезностями:

— Вы знаете, соседи мне теперь, кажется, даже завидуют. Иметь в друзьях большевика — это так современно.

— Скоро эта мода станет простой обыденностью, — улавливал нить кокетства Ростоцкий и активно помогал ее разматывать.

— Бабушка, не берите эти деньги. Они наверняка из той самой контрибуции, наложенной Муравьевым на город, — не глядя в сторону Ростоцкого, печально сообщала Виктория.

Поначалу с появлением Ростоцкого в доме она выныривала из своей меланхолии. Теперь даже он не мог выдернуть ее из привычного состояния. «Но когда оно стало привычным для тебя, Викки? — спрашивал себя Петр. — Вся свою жизнь ты ведь была другой».

Ростоцкий на ее уколы отвечал спокойно:

— А вам, Виктория, жаль кучки буржуев, растолстевших на торговле?

— Вы рассуждаете как пошляк, — оборачивала лицо Вика. — Фридман держит лавку мелких товаров на углу, он тоже буржуй? Или, может, лишь одни буржуи гибнут в застенке Киевской ЧК?

Бабушка выронила столовый предмет, а Петр строго взглянул на жену. Но она не видела его взгляда, она сверлила глазами Ростоцкого, ждала его ответа. Ростоцкий спокойно и долго выдерживал ее напористый взор, взвешенно отвечал:

— Слухи о расстрелах в ЧК преувеличены, меньше слушайте фридманов на углу.

⁹ Порядок (нем.)

— Даже если это так, даже если вместо пяти тысяч расстреляно только две, скажите, это мало? Был суд над этими людьми? Заслуживают они такой скорой расправы?

— Виктория, вы существо ажурное, с нежной девичьей душой, вы не можете понять многих необходимых вещей. Будь у нас ЧК при царе, не видеть бы кайзеру русской революции и всего этого бардака.

— Это местную интеллигенцию вы считаете крамольниками?

— И ее в том числе. Муравьев знает, что Киев — русский город, а Украина — Малая Русь, неотрывная часть России. Потому и запрещено говорить на улицах по-украински. На этом языке говорят только мазепинцы, предатели и австрийские шпионы.

Виктория всплеснула руками:

— Послушайте, что вы говорите! Крестьянка, приехавшая из деревни продавать масло, — австрийский шпион?

— Вика, ты преувеличиваешь и цепляешься к словам, — встрял Петр. — Крестьянку в ЧК никто никогда не поведет.

— А офицеров, — вскипала Виктория, — офицеров за что хватают? Как мне спокойно сидеть и ждать, когда придут за моим мужем?

Ростоцкий слабо улыбнулся:

— Виктория, вы забываете, что я тоже офицер, но, как видите, сплю спокойно и гостей из ЧК не жду.

— Конечно, господин бывший поручик! Ведь для спокойного сна всего лишь нужно перейти в стан...

Виктория осознанно оборвала себя, не договорила.

Ростоцкий в их доме бывать перестал. Петр однажды пришел к нему в казарму. Дни стояли тревожные, уже слышалась немецкая поступь с запада. Город собирался обороняться, но как-то вяло, неуверенно. Подготовка к обороне скорее напоминала эвакуацию. Ростоцкий укладывал в холщовый мешок папки, расписывал по карманам чернильницы и перья.

— Дела скверные, Петруша. Видимся, быть может, в крайний раз. Отбиваться нечем и ничем. Немцы — это тебе не сине-жупанная банда, сам знаешь. У меня в роте много солдат из окрестных деревень, так все тайком разбежались, одного успел за рукав поймать, а он мне: «Нехай киевляне город защищают», и утек. Есть надежда на Чехословацкий корпус, им терять нечего, они, чтоб австрийцам в лапы снова не попасть, до конца будут биться. Но они выбили у комитета эшелон под свое войско, тоже уходят.

Со стороны близкого вокзала нескончаемо слышались тревожные свистки, гудела поршнями водокачка, сталкиваясь, звякали буфера вагонов.

— Николай, возьмешь меня с собой? — решил Хвостов.

Ростоцкий мельком взглянул на него:

— Вы вдвоем?

— Пока не знаю, Вике еще ничего не говорил... Но если она не захочет, пойду сам.

— Что ж, давай. Запишу тебя в рядовой состав на первое время, а там поглядим.

Хвостов тяжело выдохнул, про себя соображая, не случилось ли с его стороны предательства. Ростоцкий остановил пробежавшего мимо бойца, дал короткое распоряжение, снова обернулся к Петру:

— Время на сборы — до вечера, ждать не буду. Ищи меня на путях.

Виктория терла в тазу белье, ни о чем не подозревала. Петр вошел на кухню, присел на свободный стул. Вода шелестела и булькала под ее руками, на стенках таза оседала серая мыльная пена. Ему вдруг стало противно от этой пены, от ее спокойных рук и осточертелой, вечной меланхолии.

— Вика, я не могу остаться на земле, занятой врагом, — громко сказал он.

Стирки она не прекратила:

— Какие пышные фразы. Ростоцкий научил?

— Не ерничай, прошу тебя! Ты ведь и сама знаешь, мне по пути даже с большевиками, если они продолжают кусать заклётого врага.

— С каких это пор ты стал таким отчаянным воякой? — все тот же мерный голос и шелест воды.

— Почему ты так жестока и холодна?! — вскричал Петр.

Она на секунду замерла со стиркой в руках, потом вновь ее продолжила, не сменив тона, призналась:

— Не обманывай меня, а тем более себя. Ты просто не хочешь оставаться со мной, вот и выдумал себе красивую историю о войне, большевиках и немцах.

Секунду или две Петр сидел неподвижно, затем зажмурился, в отчаянии промышчал невнятное, стрелой ринулся из кухни. Вика наконец перестала стирать, прислушалась, поняла, что дом он не покинул и вещи для отъезда не собирает, а беззвучно замер в своей глухой комнате. Она собрала пену на руках, стряхнула ее в таз, присела на стул, только что оставленный им, закрыв глаза, уперла лоб в свой мокрый кулак.

Хвостов смотрел на бледнеющий свет за окном, представлял, как суетится и бегает по рельсам Ростоцкий, ему приносят устные приказы, он распаляется, гневется, ругается — живет.

Вечером в дверь комнаты, где лежал Петр, бабушка тревожно постучала:

— Петруша, Вика заболела.

Он лежал беззвучно. Бабушка еще раз стукнула, затем приоткрыла дверь:

— Да ты сам не заболел ли?

Петр приподнялся, наигранно морщил глаза:

— Нет, что вы, уснул просто.

— Вика больна, — повторила старушка.

Из соседней комнаты послышалось раздраженное:

— Скажи ему: пусть не заходит! Я не желаю его...

Бабушка одобряюще погладила Петра по руке:

— Это у нее нервное, не обижайся.

Ева Каземировна отворила дверь, пропуская Петра внутрь, он несмело попытался войти, но лишь переступил порог одной ногой, едва успел рассмотреть Вику, по самые уши замурованную одеялом. Послышалось слабое и действительно болезненное, а оттого не такое остервенелое:

— Убирайся! Я не хочу, чтобы ты проклинал меня за то, что привязала к себе, не дала уйти. Не нужно меня жалеть.

Петр без стука прислонил дверь, тихо спросил у бабушки:

— Что с ней?

— Жар, сильный жар. Но на простуду не похоже. Может, нервы?

Петр молча стал одеваться. Бабушка суетилась возле него, виновато оправдывалась:

— Если б Белопольский не уехал... Какой доктор, какой доктор. Много лет я лечилась у него. И жил недалеко, в конце соседней улицы.

— Молодец, что уехал, я его понимаю, — холодно отозвался Петр, покидая дом.

Ночь опустила махровый занавес. Город скукожился, бугрился помятым бумажным комком. Дневные лужи прихватил тонкий ледок. Чистое небо бороздило цельнолитое желтое колесо. Бульжная мостовая — склоненное темя тысяч рабских голов. Улицы притихли, лишь на востоке грохали разномастные вагоны, увозили прочь армию и не прижившуюся с первого раза власть, а на западе, в предместьях, постреливали пушки арьергардных боев.

В кармане у Петра гулял ветер, все, что приносил раньше Ростокский, проедено несколько дней назад. Хвостов прижался лбом к темной витрине опустевшего магазина: «Пойти на кладбище, отыскать сырую могилу, разрыть ее и завалиться сверху гроба».

За спиной его прошелестели одинокие торопливые шаги, потом остановились в стороне, чуть постояли и снова вернулись к Петру. Послышался голос:

— Вам плохо?

Петр обернулся не сразу. Небо уже не было безупречно чистым, месяц, как через бельмо, смотрел сквозь тонкую пленку тумана. Перед ним стоял господин среднего роста, в длиннополом пальто, не застегнутом на две верхних пуговицы, светлой кашне и смоляном, не по погоде котелке. Лица из-за сумерек Петр не разобрал.

— У меня случилась беда, — подавленно разомкнул Хвостов губы.

— Вам кто-то может помочь? — голос прохожего был участлив.

— У меня заболела жена, вы не знаете, как найти доктора в этот час?

Прохожий, кажется, легко улыбнулся:

— Бедный «ох», да за бедным Бог. На ваше счастье, я и есть доктор, возвращаюсь домой от пациента.

— Доктор? — ожил Петр и протянул руку. — Моя фамилия Хвостов, я живу здесь недалеко. Мы сможем пройти?

Незнакомец согласился. Он и вправду шел от клиента, но вид его, спокойный и уверенный, не уживался с внутренним спором:

«Мне самому не помешала бы теперь помощь, но разве скажешь такое этому бедняге? Надо кончать, кончать... Если его жене настолько плохо, то отдам последнюю ампулу ей. Да. Отдам! И будь, что будет... Сдохну или выплыву...»

На стук двери и тихий разговор вышла бабушка.

— Это доктор, Ева Каземировна! Представляете, удача — случайно встретил на улице! — сдерживая голос, говорил оживший Петр.

Доктор поставил аккуратный саквояж, быстро скинул пальто, спросил, где помыть руки. Под черным котелком открылись каштановые волосы с боковым пробором, зачесанные назад. Лицо его было молодо, и он скорее походил на недоучившегося студента. Бабушка лила ему на ладони подогретую воду из эмалированного кувшина, подавала чистое полотенце, Петру бросила мягко:

— Тебе, Петя, лучше не заходить пока.

Хвостов присел на банкетку, за прислоненной дверью слышались обрывки разговоров:

— Велика ли у вас практика?

— В Черновцах полгода, в военном госпитале, а затем весь год в земской больнице.

— О, эти земские больницы... В одной мне однажды «посчастливилось» быть... Не в обиду вам, доктор, там одни коновалы, привыкшие к обращению с темным крестьянином.

— Пospорю с вами. У меня, к примеру, был недурной фельдшер — прекрасный ассистент.

— Да? Вы находите?... — слышался скептический голос бабушки, и Петр представлял ее недоверчивый взгляд.

Из комнаты Виктории они появились одновременно.

— Ничего смертельного, — тут же заверил доктор. — Как и ожидала ваша бабушка — нервное потрясение. У меня было с собой немного успокоительного, я оставил его там, на столе у вашей супруги. Не лишним будет приобрести вот это средство (он протянул бумажку), но, сами понимаете, когда страсти в городе утихнут и снова заработают аптеки.

Доктор на секунду задумался, в глазах его молнией метнулся блеск, и он высказал в потолок, будто самому себе:

— В этом городе постоянно случаются перевороты. Город политических эквилибристов.

Он вторично вымыл руки, прихватив саквояж, стал двигаться к выходу.

— Главное же, постарайтесь не раздражать свою супругу, — добавил он, и Петр боковым зрением заметил, как виновато потупилась бабушка. — Не забывайте о мелочах: крепкий чай с лимоном, можно побольше сладостей, они делают человека счастливым.

Пока доктор одевался, бабушка в волнении ломала руки, теребила в них крохотный бархатистый футляр, наконец, решилась:

— Извините, что оскорбляю вас своими манерами, доктор, примите это, как дар, а не плату...

Он рассмотрел подношение в ее руках, яростно запротестовал:

— Что вы, эта вещь дорога вам своей памятью, я не могу ее взять.

— Доктор, у нас больше нечем расплатиться, — потупилась бабушка.

— Я ничего не сделал. Вы напрасно беспокоитесь, вы совершенно не должны мне.

Надвинув котелок и пожав руку Петра, он вышел на улицу.

Луна за тучами — призрак, завернутый в тюлевую занавеску. В саквояже доктора болталась нетронутая ампула, а под котелком — мысли:

«Морфий ей не понадобился... Сам дьявол толкает меня на продление агонии, как натолкнул он меня в то утро впервые понюхать порошок. Милая моя, добрая жена, почему ты не отговорила меня тогда? Нет, дело не в порошке! Это чертов морфий отгрызает мне руки и ноги, не дает сопротивляться... И снова ты страдаешь, моя милая любовь. Что нам делать с тобой?.. Как я могу принести в этот мир дитя? Я, беспомощный, жалкий, трижды проклятый и зависимый!..»

ГЛАВА XIV

Иностранную пару окружила пестрая толпа. Разглядывают, гомонят, уже сукно пальцами тереть стали, материал на прочность пробуют. Господин, наряженный в долгополое кремовое пальто, из-под которого выглядывает клетчатая шотландская тройка, взгляд со смесью отчаяния и презрения, но не затравленный. Рядом с ним такой же нездешний, только на лице испуга вылито больше, он роется в бумажнике, достает цветастые бумаги с печатями, в них ни слова по-русски.

— Мы иностранные подданные, — проговорил тот, что посмелей, в шотландской тройке.

— Чаво не поймешь-то? Размен предлагаю, — держал его за рукав бородач волжанин, выхлестнутый войной и революциями с родных мест на кубанский берег.

Иностранец видел настроение русского бородача, однако из пальто вылезать не торопился. Ему не было жаль одежды, и дело было не в ней. Он понимал, что вместе с пальто неизменно снимет свое достоинство, а этого бы он никогда не простил себе. Поэтому медлил, глядя на коллегу-голландца, машинально втягивал голову в плечи но, вспоминая о великой своей родине и нации, не знавшей поражений за всю тысячелетнюю историю, снова горделиво расправлял плечи.

Наглого бородач отодвинул локтем молодчик с суровыми глазами.

— Размен я тебе предлагаю, — заглянув в лицо бородача, сказал он. — Отойдем на сорок шагов да пальнем друг в дружку. Если свалишь меня — пальтишко с иностранца твое. Я тебе первому даже стрелнуть дам.

Бородач смутился под напористым взглядом:

— Чаво ты, паря? Приглядел шмотку, так бери, чаво стреляться-то? Чай, я себе на стороне другой не достану?..

Выдвинулся ширококостный матрос. Бушлат на груди распахнут — после Питера на Кубани «жара» февральская, вырез в тельняшке чуть не до пупа, грудь волосом поросла, и в том чернолесье колтун золотых цепок катается.

— Э не, дядя. Тут дело не в шмотке. На каком-таким праве стоишь?

— На праве сильного, — немедля обернулся молодчик на матроса.

— Нема такого права, мандат показывай.

— Показано уже и не раз, — выхватил молодчик из рук иностранца кипу цветастых бумаг. — Сопровождаю иностранных делегатов в столицу. Всемирный съезд объявлен, слышал? Английские товарищи через Персию добирались, а вы так встречаете? На, читай, коль грамотный!

Матрос и вправду сделал вид, что читает, с минуту водил носом по бумажке, украдкой бросая взгляды с нее на суровый лик молодчика.

— Что ж ты их одних оставляешь? — заворчал он. — Это мы сознательные попались, а если б кто другой. Вон сколько шантрапы по вокзалу!

Молодчик смял бумаги в один неаккуратный жгут, пошел вдоль пыхтевшего на холостых паровоза. Иностранцы обалдело таращились ему в спину, затем подхватили саквояжи и побежали вдогон.

— Вам в Петроград? — спросил он на английском, когда оба они поравнялись с ним.

— Да, Санкт-Петербург! — разом обрадовались иностранцы.

— Никак не отвыкните от старого названия? — говорил он на ходу. — А вот русский мужик очень скоро его позабыл. Громоздкое оно, немецкое, нашему уху и языку чужое.

К ним подбежал пожилой воин. Вид бравый и подтянутый, в отличие от прочих сновавших по вокзалу, хотя погоны, как и у всех, — спороты.

— Ты чего, Алексей Дмитрич, по-иностранному щебечешь? Гляди, вон обертаются уже.

— Нехай обертаются, каждой сволочи бояться — жизни не хватит. Насчет позеда что узнал?

Пожилой стал что-то объяснять молодчику, тот полез за пазуху и вынул скомканные бумаги, молча протянул иностранцам. Голландец хотел принять, но путник удержал его руку и, прервав пожилого воина, сказал молодчику на английском:

— Послушайте, господин офицер, мы бы хотели попросить, чтобы вы оставили наши документы на некоторое время у себя. Мы отдаем вам на сохранность свои документы, как и вверяем свои жизни. Не бесплатно, естественно.

Молодчик коротко посмотрел на них, упрятал комок бумаг обратно и спросил у пожилого:

— Сколько требуют?

Тот ответил ему.

— У вас есть царские деньги? — снова вопрос по-английски.

— Да, золотом и в ассигнациях.

— На ваши деньги мы уедем все вчетвером. Не даю гарантию, что вы доберетесь на этом «экспрессе» до Петрограда, но сможете умчаться отсюда.

— Мы согласны. Сколько нужно?

Через час они сидели в обшарпанном и нетопленном купе. Пожилой воин долго бегал, хлопотал, отводил их к темным некрашенным кабинкам уборных, тайком брал деньги, снова исчезал, потом они шли мимо вокзальных коморок и служб, пробирались к запасным путям. Голландец сунул саквояж под вагонный диван, подул себе в ладони, затянутые тонкой кожей изящных перчаток. Морозило ли

его от наступивших стен или от чего другого? Снаружи шли приготовления, вагон дернулся, звякнул буферами, за тонкой стеной ойкнул женский голос. Пожилой воин выглянул в заиндевевое окно:

— Все, и нас прицепили.

Голландец тяжело выдохнул, едва заметно перекрестился, замороженным голосом вымолвил:

— Спасибо вам, господин офицер.

— Я вольноопределяющийся, зовите меня Алексеем.

Англичанин тоже расслабил спину, привалился ею на диванную спинку, прикрыл глаза и замечтался:

«Как бы медленно ни шел этот поезд, я все равно с каждой минутой ближе к дому. Какой дьявол заставил меня остаться здесь? Надо было проваливать еще в прошлом марте, в крайнем случае — летом. Бельгийцы бежали тогда, оставив свои горные концессии на Донбассе. Все Маккейн со своими телеграммами. Хорошо ему там. Все спрашивал: поставил ли я скважину на консервацию? Бездушный делец! Советовал мне выбираться через Месопотамию к Кувейту. А то бы я сам не сообразил, если б через Кавказ была теперь дорога, как раньше. Все, прощай, Россия, прощай, Кавказ и Грозный. “Бритиш Петролеум” вернется сюда не скоро. Только бы добраться до Петербурга! А там — на пароход и в Швецию. Или поездом через Финляндию. Плевать, хоть немцам в лапы! Пускай интернируют. Все лучше, чем среди большевиков».

Зажмурясь, ехал и голландец, вспоминал, воображал, рассчитывал:

«Пару лет. Пара-тройка лет, не больше, и я снова сюда вернусь. Ведь не может быть так, я столько вложил! Одна разведка источника чего стоила. А еще буровая установка, скважина, прочее оборудование. Тысячи, тысячи русских рублей. Но в недрах этой земли упрятано денег гораздо больше. Здесь одной минеральной водой можно обогатиться. Ради этого стоит скитаться теперь и ждать потом. Ждать, хоть три года, хоть десять. Капиталы вернутся, вложения окупятся даже через семьдесят лет. Пусть качают водичку на моем оборудовании, всю не выкачают, а скорее сломают через год-два, вот тогда я и понадобится».

Остатнийгрош сбегал через весь эшелон к машинистам, принес ведро с раскаленным добела кирпичом. Над ним расселись кружком, укрылись сверху найденным в вагоне одеялом и немного согрелись.

Бывший фельдфебель смотрел теперь на Щербу по-иному, а тот, вне зависимости, как на него смотрели, преображался день ото дня: стал легко перенимать солдатскую речь, ловить мужицкие повадки, когда надо — рубить ими. Его кругом принимали за бывалого, за представителя комитета, даже за комиссара. Остатнийгрош радовался этому преображению, оно не раз открывало им путь, и нынешний его статус, почти денщика при Щербе, не был ему в тягость.

Их «ковчег» постепенно растрясся по дороге. Еще до Екатеринодара остались в крупной станице пара ограбленных беженцев — овдовевшая молодая и раздетый до белья бывший железнодорожник. В пути они, кажется, сблизилась, решили выживать вместе, устроились в станичную школу.

Баба-молоканка задержалась в одном хуторе у казачьей семьи, ей гарантировали сытую жизнь и угол в хате — только не ленись. А она и рада. Весь век прожила на чужбине, русской земли не видела, и отцы и деды в Туретгине рождались и умирали. Теперь ей большего и не надо, кусок земли этой, горсть народа, с кем перемолвиться можно, коровье теплое вымя под рукой, да чтоб дитя ее казачата не обижали.

За Екатеринодаром свернули к морю Шюли и Дзюбан. Старый биндюжник торопился к детишкам, к оставленной милой профессии, Дзюбан — к маме, родному порогу в «лучшем городе мира».

И только Щерба никуда и ни к кому не хотел. Он ехал, пока ехалось. Отыскать отца? Что это даст? Они отделились еще до войны. Алексей и сам чувствовал, как душа его ороговела, покрылась толстым натоптышем. Остатний грош звал Алексея с собой — в степи на границе с казачьим краем он тоже скучал и торопился к сохе, жене, земле и небу. Щерба соглашался, но лишь потому, что продолжался путь, стелилась впереди них дорога, а без нее он уже не видел своей жизни.

ГЛАВА XV

Днями и ночами в Петрограде пылали окна в бывших столичных институтах и дворцах, люди металась в переходах, коридорах, кабинетах. Курили, сновали, на ходу запихивали в себя бутерброды, заливали их холодным чаем. Не выдерживая бешеной встряски и бессонных ночей, иные переходили на «балтийский чай»¹⁰.

Принимались новые решения: переименовать партию в РСДРП(б), образовать Комитет революционной обороны Петрограда, выпустить статью с громким названием «Социалистическое отечество в опасности!» (будто до этого оно там не находилось), столицу объявить на осадном положении, перевести все органы власти в Москву и, главное, — принять, скорее принять любые условия Четверного Союза, соглашаться на все и садиться за переговоры.

Из Петрограда в Брест-Литовск сыпались ленты телеграмм, а германское командование довольно потирало руки и продолжало наступать по всему фронту. В первый день возобновленной войны были заняты Двинск и Луцк, на третий день — Минск и Ровно, 21-го — Новоград-Волынский и Полоцк, 24-го — Житомир.

Генерал Макс Гофман восхищался: «Мне еще не доводилось видеть такой нелепой войны. Мы вели ее практически на поездах и автомобилях. Сажаешь на поезд горстку пехоты с пулеметами и едешь до следующей станции. Берешь вокзал, арестовываешь большевиков, сажаешь на поезд еще солдат и едешь дальше».

Немцы наступали летучими отрядами на поездах, автомашинах и санях далеко впереди от медленно тянувшихся главных сил. Двинск оккупировали мотоциклисты числом в полсотни человек, а в Режице германский отряд был столь малочислен, что не смог занять телеграф, который работал еще целые сутки, посылая в Петроград молбы о помощи. В городок Люцин прибыло из Режиц всего 42 человека в двух вагонах. Немцы были очень утомлены и отправились в буфет, где сытно закусили. После чего на сытый желудок задержали эшелон русских солдат, готовых к отъезду по домам. Немцы построили солдат в шеренгу на платформе, отобрали у них ружья и заявили: «Теперь вы свободны. Марш, куда хотите, только паровозов не получите».

В начале марта немцы подступили к Нарве. Город защищали красногвардейцы, группа обращенных в новую коммунистическую веру венгров-интернационалистов во главе с Белой Куном и отряд моряков под общим командованием матроса Дыбенко, назначенного комендантом Нарвы. Дыбенко, чья истинная, не придуманная фамилия могла стать ярким псевдонимом и, по словам одного писателя, стоила чеховского Кошкодавленки. Увы, одной фамилии для свирепства мало. Во всяком случае, против внешнего врага.

К Нарве шел немецкий батальон пехоты и два полка конницы, отряд разведки на броневых машинах и самокатчики. Около полудня 3-го марта красногвардейцы остановили немцев в пяти километрах от города, но их выдержки хватило только на несколько часов: вечером без напора со стороны немцев они бежали из Нарвы. Поезда с Дыбенко и его матросами остановились только под Самарой.

¹⁰ Стакан водки с ложкой кокаина.

Сводные красноармейские части подкачали. Увидев вместо перепуганных и подавленных офицеров, которых часто разоружали пачками всю осень и зиму, уса-тых баварцев, они быстро захватывали свободный транспорт и бежали со скоростью паровозной тяги. Когда пролетарские гвардейцы узнали о преобразовании их отрядов в новую Красную Армию, то поспешили сдать оружие и разойтись по домам. Глава правящей партии, охватив пятерней голову с остатками волос, водил рукой по бумаге:

«Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить все и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве».

Но огрызались под Валком латышские стрелки, у Гдова задержал немцев стойкий русский отряд, да на подходе к Ревелю застопорили победную прогулку тевтонов отчаянные балтийские матросы.

Главные столкновения прошли во Пскове. Город за тысячу лет своей жизни отбивал только немецкие осады семь раз. Подступали к нему ливонские рыцари и каждый раз, поцеловав накрепко запечатанные крепостные ворота, уходили ни с чем. Литва была тоже частым гостем в здешних местах. Однажды сам Витовт двинулся на город, но не дошел, застрял под крепостью Опочка, где гарнизону-то было сто пятьдесят человек. Опочане использовали хитрость: когда на мост въехала польско-литовско-татарская рать, защитники крепости подрубили столбы — и мост рухнул в ров, утыканный кольями. Кто не погиб на колях, был утащен через лаз в крепость. Там, по словам псковской летописи, над ними учинили жестокую расправу: «...резаша у татар срамныя уды их и в рот влагаху им, а ляхам и чяхам и волохам кожу одираху». Витовт, видя такой настрой защитников, подхватил оставшихся союзных ляхов, чехов, волохов и татар, ушел обратно в Литву.

Очередной польско-литовский правитель появился под Псковом на излете Ливонской войны. Опять в великом множестве и многоязычии. Помимо поляков здесь были немецкие, венгерские, французские и шотландские наемники. Крепость псковская устаревшая, средневековая, ее обложили и взяли в осаду в лучших правилах передовой европейской фортификации. Опытные инженеры, мощь осадной артиллерии, бесстрашные немецкие рейтары не помогли королю Баторию: пять месяцев осады и два кровопролитных штурма не сломили крепость Пскова.

Прошло еще тридцать лет, и новый европейский монарх решил взять псковичей на щит. В то время Московское царство сотрясало в конвульсиях Смуты. От северо-восточных лесных чащоб до смоленских пограничій гремел звон мечей и пахло порохом. По русским землям гуляла донская казачья вольница, запорожцы, неуловимые лисовички, отряды самозванцев и просто разбойничьи шайки — несть им числа. Земля была трижды пограблена, выметена, выжата огненным серпом. В древнем Великом Новгороде, не знавшем иноземного владычества со дня своего основания (даже Батый сюда не дошел), засел «Львенок Севера» — шведский король Густав Адольф. Но сосед Новгорода — Псков — еще не под властью шведов, и это пора исправить. В тот миг, когда шведскому правителю пришла эта мысль в голову, над королевской гробницей Кракова раздался злорадный смех Стефана Батория. Фельдмаршал Эверт Горн, бросивший к ногам короля Густава такие псковские крепости, как Ям, Ивангород и Копорье, ехал вдоль крепостной псковской стены, грозясь проделать защитникам города дополнительную дырку в заднице. Безвестный псковский бородач почесал затылок и приложился к своему мушкету. Через секунду Эверт Горн валялся на земле с дополнительной дыркой в голове. Густав Адольф стянул к Пскову все, что имел: шведские войска, английских, французских и голландских наемников, лучших инженеров и мастеров подземных минных войн, даже духовников для моральной поддержки своих

солдат. Был выпущен из Голландии человек-кроль — искусник в рытье минных галерей и закладке петард. В ответ из Кракова все злораднее нарастал смех Батория. Псковичи по ночам делали дерзкие вылазки, резали сонных наемников, уносили в город все, что плохо лежало, однажды чуть не уволокли всю осадную артиллерию. В одну из таких вылазок был убит видный полковник и инженер Роберт Мур, получивший от псковичей имя «Роботмир». Бомбардировка города каменными ядрами и два штурма тоже ни к чему хорошему не привели. Густав Адольф с началом холодов «пошел с великим стыдом, многих у него людей побили, а иные с нужды померли и побрели врознь»...

Славные времена прошли. Теперь к Пскову были двинуты летучие германские отряды. Взяв в Двинске железнодорожный состав и оборудовав на нем несколько орудийных платформ с блиндированными мешками песка, немцы при поддержке броневиков подступили к городу. В самом Пскове скопилась масса войск, демобилизованных, целый год уговариваемых агитаторами всех мастей: «Война эта не ваша, а буржуйская, немец на русскую землю никогда не ступит, стоит только из окопов домой повернуть». На защиту города вышла пулеметная команда и две роты латышских стрелков, горстка добровольцев из Сибирского полка да около сотни красногвардейцев. Остальным дела не было: «Наплявать, надоело воевать». С занимаемой на окраине города позиции было хорошо видно, как бесконечной вереницей двигались от Пскова на восток обозы и деморализованные части старой армии.

В самом городе начались жуткие погромы, паника и неразбериха. Пока на реке Черехе шел бой, в Пскове разгулялись грабеж и мародерство. На рыночной площади заместитель председателя Совета Клейнешехерт пытался прекратить грабежи и был убит солдатами-погромщиками. Труп лежал на площади, носились мимо него люди в разные стороны, скуля и поджавши хвосты, разбегались бездомные собаки.

Немцы, воспользовавшись царившим хаосом, проселочными дорогами обошли правый фланг псковских красногвардейцев и к вечеру захватили станцию Псков-1. Их встретили на станции пулеметным дождем латыши, но победный напор немцев, в конце концов, сломил и этих защитников. С наступлением ночи в городе все еще стреляли — огрызались местные красногвардейцы, прикрывали отход ушедших на север латышей, на перекрестках возникали уличные бои. В десятом часу ночи рванул расположенный рядом с вокзалом пироксилиновый склад — в тот момент, когда в него вошел немецкий батальон. От взрыва немцы потеряли больше, чем на всем трехсоткилометровом марше, — 270 солдат и офицеров.

На следующий день после занятия Пскова немцы казнили полторы сотни пленных красногвардейцев, большевиков, советских служащих. Одновременно оккупационные власти выпустили из тюрем офицеров старой русской армии, разрешили им свободно ходить по городу, носить форму, погоны и награды.

В Петрограде паника не утихала. Завертелась правительственная чехарда. Троцкий подал в отставку с поста наркома по иностранным делам, передав «с некоторым обделением» полномочия Георгию Чичерину. Напоследок он забыл сказать лишь об одном: «Я это дельце хорошенько запутал и загнал в тупик, теперь самое время этот клубок кому-то разрубить». С тех самых переговоров заклемила молва товарища Троцкого грубой народной поговоркой.

Германский документ с новыми, более обременительными условиями мира был получен в Петрограде утром 23 февраля. Через сутки царскосельская радиостанция передала в Берлин, Вену, Софию и Стамбул сообщение о принятии советским правительством условий мира и о готовности выслать новую делегацию в Брест-Литовск. Делегаты прибыли на переговоры 1 марта, а германо-австрийское на-

ступлении и не думало убывать. Министры иностранных дел Четверного Союза не стали дожидаться советских представителей и уехали в Бухарест — заключать договор с Румынией. Из Петрограда была направлена еще одна делегация, отдельная — Советской Украины, но германские военные не пропустили ее дальше Пскова, заявив, что не могут подписывать с Украиной соглашения каждую неделю, ведь совсем недавно германский блок подписал уже Берестейский мир, и в документе стоит подпись Украины.

Итоговый Брест-Литовский договор состоял из 14 статей. Республика Советов обязывалась: не претендовать на Прибалтику; вывести войска из Финляндии и Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством; вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс; прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.

Газета «Новый день» опубликовала статью С. Загорского «Банкротство», полную сарказма:

«Советская власть, самая революционная в мире власть самой революционной в мире страны, объявившая войну всему мировому империализму, капитулировала перед германским империализмом при первой его реальной, а не словесной угрозе».

Пока Брестский мир не был ратифицирован — принят обеими сторонами, — наступление немцев продолжалось. Впрочем, оно продолжилось и после ратификации, ведь четкой границы между Украиной и Россией не существовало, и немцы не знали, где им следует остановиться, или невозмутимо делали вид, будто не знают.

* * *

Мартовская Авдотья в этом году припоздала. Гуляла еще зима по земле и по самой Авдотье, хоть и неумолчно твердили крестьянки с рассветом: «Авдотья-Авдотья — обсери проруби». Но проруби леденели на мороз, не желали становиться серыми. У колодца, в лавке, на паперти встречались бабы, между разговорами качали головой:

— Не желает идти Авдотья-Плющиха.

— Будто впервой? В прошлый год только на второй половине марта начало тать, аккурат митинги начались.

— И в этот год революцию надо, чтоб зима ушла.

— Ждите, бабы, придет Авдотья, расплющит, сгнетет снега.

В Дуванке разделили меж крестьянами помещичью землю. Досталось Григорию и Дмитрию по крохе на их немалое семейство, пай на дальних полях, но Безрученко, отец и сын, все равно рады. «Мы ради этого клочка хоть на руках поползем», — говорил Григорий Леонтьевич. Встречал посреди двора свою пожилую супругу, спешившую по делам, и кричал ей, как молодой:

— Евдошка, пошли тепла трошки¹¹!

Она строго отмахивалась на ходу и тут же отворачивалась, пряча от него игривую улыбку. Ей не надоедали его окрики, гремевшие каждый год в одно и то же время, а он не уставал тормошить ее одной и тою же прибауткой.

Григорий Леонтьевич ладил соху, точил кованный лемех, ремонтировал упряжь, купался в домашних делах и заботах. Дмитрий помогал ему, однако видел Григорий, что сын после армии иной: ходит мрачный, работает спрехвала, часто оступается на ровном месте, бродит взором по двору и постройкам, будто ищет чего-то.

¹¹ Чуть-чуть (*суржик*).

Дмитрию надоедливо вспоминались дни, прожитые под Сморгонью. Он лишь теперь, на воле, стал понимать, чем могла обернуться для него та единственная атака. Глядел на Ирину, миловался с нею, а сам думал, что всего этого могло с ним не быть. Дмитрию виделись сны, будто открывает он глаза, а над ним сидит пожилой солдат-безумец, машет ладонью перед носом, отгоняет невидимых комаров, приговаривает: «Кыш, проклятые! Летите с других сосать, у этого уже кровь мертвая», и все не видит, не видит, что Дмитрий проснулся.

Григорий не был на войне, но молча, про себя жалел сына: «Такой молодой и уже ни черта негожий, войной порченный».

Молодая жена Дмитрия тоже видела в нем измену, и невдомек ей была причина, а потому, по извечной бабьей привычке, винила себя. Старалась угодить, по дому все управить, Ташку младшего нянчила терпеливо, так, что даже свекруха лаялась на нее:

— Ну, чего опять на руках носишь? Вырастет в задницу зацелованным.

Ирина отмалчивалась, свекрови не перечила, и опять хлопотала, ложилась позже всех в семействе, не глядя на усталость, норовила приласкать мужа в постели. Дмитрий к ласкам оставался холоден, принимал как данность, а чаще и вовсе шептал ей:

— Неужто не наскакалась за день?.. Я вот как в мялку попал, дрожит все от работы... Давай на другую ночь.

Авдотья-таки грянула наконец — и проруби обсерила, и снега сплющила. Ближе к утру, когда морозцем подтаявшую землю прихватывает и капель больше не слышна, в неподвижной мартовской тишине рвануло на Дону речным разломом, лопнуло, как при орудийной пальбе. Лед взорвало на повороте, донском колене, ближайшем к Дуванке.

Дмитрий вскочил с задавленным мужским стоном, в испуге дернул под собой простыню с тюфяком, вцепился в них, стал комкать. Ирина спросонок не поняла, что с ним, тоже закричала. Донские льдины, стронутые Авдотьей, напоздали друг на друга, крушили свои мастодонтовы бока, и фронтовик не мог их слышать, но чудились ему громы Великой войны, постбомбежечной дрожью сотрясало ему тело.

За стенкой родители спали мертвым работающим сном. Ирина успокаивала мужа, гладила по щекам, тихо, словно мать, рассказывала ему, как раньше в это же время ломалась ледяная корка, освобождаясь, перерождался Дон. В эту ночь она поняла, что дело не в ней, что это война держит ее мужа костлявыми пальцами даже здесь — за тысячу верст от окопов. Но легче Ирине не стало. Что делать и как отвоевывать мужей у войны, тогда не знали.

ГЛАВА XVI

Вдоль Дона в то темное утро проснулось много бывших фронтовиков: вздрагивали, метались. Более закаленные, ночевавшие под бомбами все три года, открывали глаза, видели за окнами черную ночную мглу, переворачивались с одного бока на другой, храпели дальше.

В хате на набережной улице проснулся Андруха Калинин. Под обстрелом он был лишь единожды, а так всю войну просидел в столичном полку каптенармусом. Андрей сдернул одеяло, вытер со лба холодный пот, дышал шумно и часто. Перед глазами его пролетели невзрачные латгальские болота, прореженные орудийной пальбой перелески. Тающий мартовский снег, захлаустанные грязью сапоги и шинели, палатка с красным крестом, тоже грязная и покрытая от вечной сырости черным налетом грибка. Черные солдатские руки, хватавшие пайковой хлеб, папироска, зажата сахарными офицерскими зубами.

Андрей еще раз с придыхом толкнул из легкого воздух. Проснулась Пелагея, нашла одяло, потянула на себя, потом увидела сидевшего неподвижно мужа. Тоже вскочила, спросила с тревогой:

— Чего, Андрюшка?

— Да так, приснилось... Ты взрыв слыхала?

— Ничего не слыхала.

— Ну, ложись, ложись.

— И ты со мною, — Пелагея обняла его со спины за плечи, полезла рукой в вырез сорочки, на грудь ему свесился поток пшеничных волос, пахнувших хмелем.

— Сейчас, до ветру только...

Андрей вышел на порожек, завернул сигарку. У соседей в кошаре заблеяла овца, собака спросонок гавкнула и вновь заснула. С крыши не капало, наростами свисали бесцветные прозрачные леденцы. От Дона в мертвенной тишине полз ровный шорох: терли и напозлали на берег льдины, громоздились, подтачивали глинистую кручу, срезали острыми краями тонкую вербовую лозу, вспахивали песок. Окурок упал в схваченную ледком лужицу, раскидав щепотку искр. Андрей, вернувшись в дом, тихо притворил за собой дверь, постоял и послушал ровное дыхание жены, полез на шесток за лампой, сделал слабый свет. Когда доставал из фанерного буфета бутылку, слабо звякнул ею о чашку. Железная кровать скрипнула, в дверях появилась Пелагея.

— Ты гляди, как Дон разломало, а она не слышит, — опустил бутылку на стол, сказал Андрей.

— То черт знает где, а это в собственном доме, — зябко поглаживая себя по голым рукам, ответила ему жена. — Чего отмечать решил?

Андрей молча шарил в посуде, доставал стакан, появились на столе хлеб и сало, он неторопливо нарезал их. Пелагея от холода передернула плечами, под рубахой ее взволнованно катнулось два смуглых каравая. Она накинула теплый платок, всунула ноги в валенки, которые чуть не убрала вчера в скриню до следующей зимы, присела к столу:

— Тогда и мне наливай.

Андрей достал второй стакан, ровным голосом добавил:

— Капустки б из сенцев внесла.

Окрутили их до Андреевой службы, и не раз они слышали, когда вместе, когда порознь: «Под стать невеста жениху. Ох, и красивьючие ж оба, сила немощная!» Роста примерно одинакового, Пелагея на полвершка пониже, а как праздничные полусапожки обует, так и выровняется с ним. У нее волос пегий, коса толстая, до середины спины, глаза — небесная синь, лицо — и впрямь воды б с него воды напиться. На кой досталось все это горькой крестьянской судьбе? С такой красотой только в графских поместьях родиться, чтоб сытой жизнью эту красоту не растратить. Когда венцы им над головой держали, Пелагея слышала в толпе позади себя: «Помет, должно быть, знатный с такой пары будет, как от племенных».

— Рассказал бы чего, глядишь, полегчало б, — дала она совет Андрею после второй стопки.

— Не трави, роденькая. От таких рассказов легче не становится.

— А ты попробуй чего-то хорошего вспомнить. Что ж, неужто там одна сволочь была? Вот я дальше нашей слободы нигде не ездила, однако скажу: народу у нас живет немало, а хорошие все одно плохих переваливают.

— Были и там хорошие, — задумавшись, не сразу ответил ей муж. — Но есть поговорка старая: если смешать фунт варенья с фунтом дерьма, так два фунта дерьма получится, а ничего третьего не выйдет... Война и нормальных людей сволочила...

Он налил еще, себе полный, ей — на палец вышотил, чокнулся, опрокинул, притянул к себе женку, поцелуем закусил. Опять надолго задумался, она тоже молчала, не мешала ему. Андрей разомкнул губы:

— Мужики были и хозяйственные, и ладные. Были такие, что сам черт не брат, в бою зверь и в жизни то же, папашу родного угробит за кусок. А один раз гусар мне встретился... В секрет они уходили разъездом, к фронту. Спросили у костра обогреться, мы ничего, пустили их. И вот он стал друзьям своим оборванный рассказ продолжать, и мы слушаем. Был он, этот гусар, до войны то ли ученый, то ли путешественник, мир повидал. Особенно Африку. Ну, какие, к примеру, говорят ему, в Африке народы? Какая у них там вера? Вера, говорит, наша — христианская. С него давай смеяться: «Вот ты и провалился, мы тебя проверяли! Как же она может быть христианская, если любому мальчонке известно, что в Африке негры живут и деревянным истуканам молятся, навроде наших черемисов?». Он стоит на своем, из себя не выходит, культурно так: «Хоть они и негры, а Бога нашего почитают. Абиссиния, говорит, к примеру, на полтыщи лет раньше нас крестилась».

— А кто такие негры? — перебила Пелагея.

— Ну да, ты у нас неученая... Отец Павел в первом классе рассказывал, что негры — это Хамово племя. Черны они от своей убогости и умственной скудости. Вон как ты, темнота моя бескультурная, — он опять притянул к себе супружницу, после долгого поцелуя оторвался, разлил снова, замер с рюмкой в руке.

— Потом его стих почитать попросили, видать, принято так у них, у гусар. Он не кобенился, согласился... Последнюю строчку до сих пор помню. Херувимы, говорит, ясны и крылаты, за плечами воинов видны... Это у нас, значит, которые людей гробили, у нас херувимы за плечами...

Он махнул стопку с такой яростью, будто хотел закинуть ее за себя.

Андрея на царскую службу провожали, а их горю даже сторонние бабы плакались: «Раскрасива, как писанка пасхальная. И куда такой без мужика? Пропадет девка». Осталась молодая жена, как водится, в родительском доме своего мужа, блюла себя честно. С началом войны стали в ее сторону обнадеженные взгляды кидать, из тех, кто побогаче, мобилизацией не задетые. Один раз даже перестрел с разговором молодчик нездешний, потом узнала она — поповский сынок, начальство земское — Голубятников. Говорил вещи приличные, можно сказать, благородные, что вот, мол, если, не приведи Господи, случится вдруг с мужем на войне беда, покалечат там, так пусть она, солдатка, не беспокоится, земство ее в беде не оставит, мужу пенсию и протез от государства выхлопочет. Были и другие зубоскалы-охальники, вроде аптекаря Митропольского, зазывавшего к себе на посиделки самостийников. Знали бабы, о чем плакали, провожая Андрея на службу, — тяжело красивой да одинокой без мужа быть.

За войну Пелагея мать и отца похоронила, мужа дождалась, и без всяких намеков от нее увел он супругу на другой день из своего родительского дома в ее опустевшую хату. Зажили вольно, без старикового глаза и совета, любили бездельно заснеженной зимою ненасытно, за все четыре года разлуки.

Пелагея вырвалась из мужниных объятий, запыханно простонала:

— Уйди, бес!.. Корова не доена...

Он звонко ляскнул ее по задку холеной, отвыкшей за четыре года от крестьянской работы рукой, добавил свое коронное:

— Давай, швыденько.

Она вернулась скоро, но он уже спал. Пелагея присела на табурет рядом, погладила его каштановый чуб, провела осторожно пальцами по гладким щекам, ухоженным усам, поняла, что не добудится, и убежала хлопотать по домашности.

Андрей проспал чуть не до обеда. Одеваться не стал, накинул на себя шинель сверх нижней сорочки, вышел за калитку в подштаниках. Напротив двора, на

подсохшем пяточке у плетня, взилаясь детвора. Калинков подкурил, перетасовал взором кучу мелюзги, выбрал старшего:

— Эй, рыжий черт, бегом сюда.

Подбежал мальчуган лет десяти, в ожидании шмыгнул носом. Андрей протянул ему помятую керенку:

— Беги к Шинкарихе, чего взять и сам знаешь.

Малец расправил кушюру:

— Так тут вровень, мне даже на леденец не останется.

— Беги, пострел. Как сработает, я тебе отдельно отсыплю.

Хлопчик досадно покачал головой, чувствуя обман, но все же повернулся и пошел с неохотой.

— Погодь, — окликнул его Андрей. — Вертайсь.

Мальца ухватили за свитку на плечах две крепкие руки и вытряхнули из старых разношенных сапог. Андрей поставил хлопца голыми пятками на стылую мартовскую землю, сам наклонился и подобрал чеботы:

— Так оно швыдче будет.

Рыжеголовая макушка замелькала вдоль улицы над плетнями. Сырая, скинутая снег, не просохшая земля, еще не могла плеваться пылью, а то из-под пяток хлопца летели бы клубы.

Вечером в окошко исполкомовского секретаря Тихона постучали. На пороге стоял веселый, не прохмелевший Калинков:

— В помещение пустишь? Дело секретной важности.

Тихон шире распахнул дверь. Андрей улыбался ему, морщил лицо и заглядывал в кухню, где стряпали мать Тихона и братова жена, наконец, тихо, почти заговорщицки начал:

— Дело нужно провернуть, секретарь. Письмо составить сможешь?

Тихон неуверенно развел руками:

— Если под диктовку, так смогу.

— Я тебе слова состряпаю, — заверил Калинков.

Секретарь еще более изумился:

— Тебе нужно? Ты ж грамотный, Андрей.

Калинков быстро нахмурился и приложил палец к губам Тихона, потом отслоил его, и нетвердой рукой поднес себе ко рту, тоже сделал знак тишины.

— Я-то грамотный, да писать мне никак нельзя, рука меня выдаст.

Тихон знал, что у Калинкова исключительной красоты письмо, а его кудрявая подпись вообще под статью хозяину. «Каков человек, такой и почерк», — уже отмечал про себя Тихон, перевидавший за годы службы массу стилей и характеров письма. Говорили, что именно почерк сослужил Калинкову службу и продержал его каптенармусом всю войну в тыловом столичном гарнизоне. А выучил его почерку каллиграфист, уволенный из Монетного Двора за какую-то провинность и попавший в армию.

— Бумага-чернила найдутся? — спросил Калинков.

— Прямо сейчас хочешь? — удивился Тихон.

— Нет, у тебя на службе, — расплылся улыбкой Калинков. — Говорено же, дело секретное.

Тихон достал кусок оберточной бумаги, мать принесла съестное из лавки, завернутое в эту бумагу. Андрей глянул ее на свет: желтая, дорогая, с водяными знаками — прозрачные осетры и прочие рыбы. В середине листа небольшой текст, набросанный химическим карандашом: «Мой друг, Яков Петрович, ты жалуешься, что упаковка плоха». Что хотел сказать автор послания оставалось неясным. Калинков понюхал бумагу, продуктами от нее не пахло, велел залить чернилами серые карандашные буквы.

— Пиши, секретарь: председателю волисполкома Мыщикову, Степану Ивановичу. Советуем вам, товарищ Мыщиков, на ближайшем волостном съезде Советов добровольно подать в отставку.

— Все? — поднял взгляд от бумаги Тихон.

— Добавь еще: по мнению делегатов съезда, эта должность вам слишком обременительна, со служебной задачей вы не справляетесь. Подпись: делегаты уездного съезда Советов.

— По-хорошему б подписи делегатские нужны, — неуверенно советовал Тихон.

— И без подписей сгодится, — просмотрел анонимку Андрей и убрал себе в карман.

Минула неделя, а может, и меньше. Тихон шел к волисполкому на службу. Пятнал растаявшую землю грязный снег, чавкало под сапогами. На плетнях, крышах сараев, на гумнах и овинах, на скирдах соломы и сениках — на всех близких к хлебу местах стаями сидела детвора. Мальчишки подкидывали печеных из кисло-пресного теста жаворонков с крылышками и глазками-изюминками, ловили их и снова подкидывали, хохотали, перекликались. Девчушки пели хорам, закликали весну:

Летел кулик из-за моря,
Принес кулик девять замков.
Кулик, кулик, замыкай зиму,
Отпирай весну — теплое лето.

Небо светилось весенней синевой, чирикала летучая братия в голых еще ветвях, потрошила березовые метлы — ведьмины хвосты, лушила рыжую сережку-семечку и чужала скорый конец бескормице. На просохшем выгоне к шесту на нитку прикрепили бледнобокого пресного «птушка». Ветер колыхнул вылепленную из теста птицу, она облетела шест, словно живая, и стукнулась в него клювом. Дети радостно запели новую веснянку:

Весна Дуньку кличет:
Боже милый!
Дай, Дунька, ключи,
Отомкни землицу,
Выпусти травицу
На раннее лето,
На буйное жито.

Звенел детский смех, когда разламывали жаворонков и счастливцу попадалась спрятанная внутри запеченной птицы монетка — не будет нашедшему в этот год горя. Над слободой летел колокольный звон, чествовала церковь Севастийских мучеников, а по-крестьянски — «Сороки». Звенела земля от грянувшей весны, наливалась теплом и соками, набирала силу, чтоб выгнать из себя живительную плоть, накормить детей своих перед долгой войной и затяжным голодом.

Тихон отворил входную исполкомовскую дверь, почти остоленел, на стене против двери — крупный плакат: «В головных уборах находиться запрещено». Секретарь машинально цапнул с головы шапку, попутно почесал маковку. Прошел из сенцев в приемную — и тут плакат: «Выражаться и курить запрещается». Тихон только теперь взгляделся в кудрявые буквы, сомнений не было — Калинкова рука. В кабинете секретаря и переписчиков шум-гам, не хуже воробьев в драке над «ведьмиными хвостами» спорят, почти кричат:

— А я в третий раз повторяю: вместо революционной свободы и вседозволенности теперь объявляется революционный порядок! Революционная дисциплина! Не только рука Калинкова здесь командует, но и голос. Ему возражают:

— А для чего ж мы революцию делали?

— Что ж теперь, как при царе? Дисциплиной душишь будешь?

Любопытство Тихона перебороло первородную робость, он отворил двери кабинета. Внутри и вправду есть чемдохнуть, не накурено. Андрюха Калинин стоит — одинокий в поле воин. Встревает в спор старик Утянский:

— При царе немца у границы держали, а как пришла революция, так и шагнул он через всю державу. На Донбассе уже, к нам подбирается!

В гневе дрожал старик, звенели его кресты и медали за Турецкую войну. Утянский в былые времена пытался выдвинуться на должность волостного старшины. Тихон вспомнил, как сидел он волостным переписчиком за маленьким столом у печки в день выборов, тихо, неприметно выполнял свою работу. Здесь же, в канцелярии правления, на венских стульях собрались знатные участники схода и кандидаты в волостные старшины: кожевннзаводчик Шевцов, член кредитного поверочного совета Скрипников, по-уличному Кучма, крепкий кулак Полканов, по-уличному Красноперов, и с полной грудью наград — Утянский. В судебном кабинете правления еще шло тайное голосование черными и белыми шарами, а здесь будто и дела нет, вели хозяйские беседы, выборов не касались. Утянский сидел отстраненно, в разговоры не встревал, только в волнении расправлял свою окладистую с проседью бороду. Один из голосовавших, Мишка Бардаков, удостоил Утянского вниманием, с плохо скрытым ехидством налил ему «меду»:

— Вам, Иван Емельянович, только и быть старшиной. Вы заслуженный человек, имеете представительную наружность — все необходимое для этой должности.

Утянский слабо улыбнулся, поблагодарил, но, кажется, именно теперь понял, что лишний на этих выборах. Стараясь сохранить достоинство, он вышел через парадный вход на площадь. Выборщики и кандидаты разом захехекали:

— Дурак, сукин сын. А еще лезет в старшины!

— Деньги — ум. А нет денег — нет ума.

И сам Шевцов, и сын его Вася уже отбыли по одному сроку в кресле волостного старшины, а Кучма побывал там дважды. Они знали, как делаются выборы.

Прошло с той поры девять лет, минуло две революции, снова Утянского потянуло во власть.

— Мы все исправим! — покрывал поднывший гам Калинин своим голосом. — Царское все отметем, а дисциплину, повторяю, свою устанавим — революционную.

— И армию, армию воскресить! — вторил ему Утянский. — Что за держава без армии? Приходи, владай нами кто хошь!

— Армию исправим, — соглашался Калинин. — Офицерье мы с нее повычитили, теперь во главу своих людей поставим, пролетарских. Что ж мы сами собой управлять не сможем? Вон Шашкин у нас цельный прапорщик.

Тихон нагнулся к приятелю, учителю Шендрикову:

— Калинин теперь председателем?

— Мыциков добровольно сложил полномочия, — негромко ответил тот. — А у Калиникова второе место по голосам, вот его временно и назначили, пока новые выборы не пройдут.

ГЛАВА XVII

После Берестейского мира меж Украиной и Четверным Союзом Румыния увидела себя покинутой сиротой и тоже неохотно уселась за стол переговоров с немцами. Румыны вернули болгарам Южную Добруджу, Австро-Венгрии — главные стратегические проходы в Карпатах, Германии передали на девяносто лет свои нефтепромыслы. И главное, немцы толково объяснили румынам: по мирному

Бухарестскому договору мы обязаны вам вернуть земли, которые заняли во время войны, однако вернуть вам их не можем, они нам нужны, мы с них за полтора года пользования привыкли собирать урожай. Поэтому вы подождите до конца войны, может быть, потом мы вам их вернем. А пока что мы не против, если вы отхватите у России, этой старой развалины, свою «исконную» Молдавию, которую москали бесстыдно прозвали Бессарабией. Немцы указали румынам, кто тут действительный враг.

Румыны над оккупированной своей территорией и столицей повздыхали, но на Бессарабию кинулись с оголодавшим видом. Часть русских армий, не успевших покинуть фронта, пленили, огромные запасы и провиантские склады быстро прибрали к рукам, навесили на двери свои гербовые печати. В корне изменилось отношение к бывшим союзникам: теперь русских видели мошенниками, втавившими невинных румын в ненужную им войну. Отрезанные от родной земли русские сливались в разношерстные отряды. Поверившие большевикам и пошедшие за ними солдаты сколачивали свои красногвардейские общины, отдельной статьёй утекали через Бессарабию и Украину офицерские бригады, собранные под русские знамена полковником Дроздовским и генералом Белозором. Отбивались от наседавших румын, немцев, австро-венгров, сине-жупанных самостийников, где слишком узкими выпадали дороги — воевали друг с другом бывшие однополчане, солдаты и офицеры растворившейся армии. Летело недовольное и отчаянное:

— Румыны насколько плюгавее нашего, а и с ними немец считается, за переговоры сел, Бессарабию сулится прирезать.

— Потому как румыны армию сохранили. Герман не хочет свою кровь зазря транжирить, нашей землей от румына откупился. А мы свое войско разогнали, паря.

Но румыны стали захватывать южные уезды Бессарабии еще до благословления с германской стороны. В январе, пользуясь неразберихой, развалом русской армии и многовластием на этих местах (права на территорию объявила Молдавская Советская республика, Украинская Народная республика, Одесская Советская республика и загадочный Румчерод), румыны заняли Измаил и Болград. Румчерод из Одессы объявил войну Румынии. В устье Дуная закипела битва двух флотий — советской и румынской, румыны наши корабли к Измаилу не пустили. Три недели стойчески оборонялся город Вилково, из Одессы и Севастополя шли ему на помощь военные суда с десантом матросов и Красной гвардии под командой легендарного Железняка.

Советская Россия и Советская Украина, недовольные открытой интервенцией, прервали с Румынией дипломатические отношения, оказались с ней в состоянии войны. У Центральной Рады тоже были территориальные претензии к Румынии, и она отправила правительству ноту протеста, а вскоре задымили земли вокруг спорной древней крепости Хотин.

Из Киева в Одессу подполковник Муравьев за сутки перебросил эшелонами свою трехтысячную армию. Он объявил в городе военное положение, приказал уничтожить все винные склады, обратился к Одесской городской думе, взывал, требовал у местной буржуазии в трехдневный срок собрать ему десять миллионов рублей на оборону:

— Черноморский флот мною сосредоточен, и я вам говорю, что от ваших дворцов ничего не останется, если вы не придете мне на помощь! С камнем на шее я утоплю вас в воде и отдам семьи ваши на растерзание. Я знаю, что в ваших сундуках есть деньги. Я люблю начинать мирно. Дайте немного денег, будете с нами вместе. Я знаю этот город. Деньги есть.

Удалось собрать только два миллиона, и Муравьев приказал изъять поголовно

деньги из банков и касс предприятий, включая те, что предназначались для выплаты зарплат рабочим.

В середине февраля румыны подошли к Бендерам, переправились через Днестр, стали создавать на левом берегу плацдармы. У Бендер, под Бельцами и Рыбницей неделю не стихала орудийно-ружейная пальба. К началу марта Приднестровье зачистили от румын, взяли в плен с полтысячи душ да полтора десятка пушек. Радовались первым победам, на миг забывая, что с севера движется более стойкий враг.

Отрезвевшие румыны предложили перемирие при содействии иностранного дипломатического корпуса в Яссах. Мир между немцами и большевиками еще не был подписан, и представители Антанты надеялись сколотить союз Румынии и Советских республик против австро-немецких войск. Румынский премьер-министр Авереску, впечатленный успехами Муравьева, подписал договор на условиях полного вывода румынских войск из Бессарабии в течение двух месяцев. После переговоров в Одессе и Яссах 12 марта был подписан «Протокол ликвидации русско-румынского конфликта», а через несколько дней румынская сторона мирный договор разорвала. Времена стремительно менялись: Румыния видела победный марш немцев по Украине, чувствовала холодный клинок золингенской стали у своего горла и вышла из союза с Антантой — Бессарабию России возвращать отказалась.

К моменту заключения Брестского мира австрийцы завладели всей Подолией. Командарм Муравьев приказал закрыть фронт от Днестра до Одесской железно-дорожной ветки, но реально австрийскому закаленному в боях кулаку противопоставить ничего не мог. У Слободки и Бирзулы три дня грохотали бои, и стоили они австрийцам полтысячи трупов. Одессу это не уберегло. Как и в Пскове, с приближением вражеской армии город охватили солдатские беспорядки, погромы магазинов и винных складов. Одесситы вышли на улицы, слились в огромную демонстрацию, требовали открыть город на милость победителя, с надежной ждали, что хотя бы немецкая власть прекратит грабеж и стрельбу. Муравьев разогнал горожан обратно по квартирам пулеметами. Вразумленные одесситы, рассевшись по домам, даже на призыв мобилизации не откликнулись. Муравьев писал в гнев:

«Защита Одессы стала невозможной. Мобилизация дала всего 500 красноармейцев, в то время как в городе 120 тысяч пролетариев, а регулярные демобилизованные войска отказываются воевать».

Одесситы с врожденной иронией обсуждали:

— Кто там Бирзулу обороняет?

— Матрос Железняк.

— Тот самый, что Учредительное Собрание разогнал?

— На этот раз должен бы австрийцев разогнать. Или сам разгонится, аж до Ланжерона.

Муравьев отчаянно пытался отстоять Одессу, ввел военно-полевые суды против своих нестойких разбежавшихся отрядов — ничего не помогало. С остатками революционной Особой армии он вырвался из города и ушел в сторону Крыма.

По Украине разгулялась новая война — эшелонная. Фронт теперь уместался на ширине железнодорожного полотна. Немцы, австро-венгры и верные Украинской Раде войска наступали исключительно по железным дорогам, а красногвардейские отряды, изредка и недолго обороняли станции, отступая, портили мосты, телеграфные столбы, крушили рельсы. К 12 марта немцы заняли Черкассы, Золотоношу, Чернигов. Жестокие бои развернулись за станцию Гребенка, где был контужен красный командарм Киквидзе, и за узловой Бахмач.

Оборону вокруг станции заняла революционная армия Сиверса, но первую

скрипку здесь играли не краснотвардейцы. Отступавшие от самого Збаража, с боем выбившие в Житомире эшелоны под свою легию, здесь уперлись в землю сербские и чехословацкие бригады. Бывшие подданные Габсбургов, попавшие в русский плен и добровольно вставшие под знамена царской армии против своей ненавистой «родной» монархии, они знали, что терять им нечего, ведь в руках своих бывших хозяев, венгров и австрийцев, им будет все одно горше, чем в бою. Дивизиям и бригадам, не добывшим себе транспорта, приходилось делать пешие дневные переходы по шестьдесят верст. В день, когда Киев гремел от походных немецких маршей и грохота сапог по мостовой, через Днепр по Цепному, Дарницкому и Слободскому мостам уходили гуситские бригады. В следующие два дня гремел бой за Цепной мост — чешские заставы и пикеты старались задержать немцев, выиграть полсоток на отрыв.

С украинскими войсками у чехов сохранялся нейтралитет, и на совещании чешских высших чинов корпуса и представителей французской армии было решено просить немцев через самостийников о временном прекращении огня. Немцы ответили: огонь прекратим, только когда легион разоружится. Чехи и словаки все поняли, скорбно взглянули на разбитую в дороге обувь, перебинтовали кровоточащие ноги, снова грянули по мартовской хляби на восход солнца. Тылы бригадные тоже не дремали, не без помощи французов в Бахмаче удалось согнать полсотни паровозов и около девятистот вагонов. Немецкая авиация неустанно висела над пешими чехословацкими колоннами, отслеживала весь путь.

На ближних и дальних подступах к Бахмачу с Киевского и Гомельского направлений четыре дня гремели встречные бои, отбивались и оставлялись окрестные станции. У Песок немцы проявили хитрость: усадили в эшелон русских пленных, выдавая их за едущих по домам демобилизованных, и под такой ширмой вплотную подкатили к чешским окопам. Легионеры притаившихся немцев разглядели, дали залп, с вагонов посыпались русские пленные, стали разбегаться, эшелон дал задний ход. На другой день немцы без всякой хитрости выбили чехов со станции.

Главком советских войск на Юге России Антонов-Овсеенко распорядился пропускать эшелоны с чехословацким корпусом через Слободскую Украину в Поволжье. Впереди предстояла долгая дорога до Владивостока, а оттуда по морю во Францию. Когда корпус вырвался из немецких челюстей, главком поблагодарил союзников за помощь:

«Наши товарищи из Чехословацкого корпуса, с честью и доблестью сражавшиеся под Житомиром, прикрывая Киев, пути к Полтаве и Харькову, ныне покидают пределы Украины и передают нам часть оружия. Революционные войска не забудут той братской услуги, которая оказана была Чехословацким корпусом в борьбе рабочего народа Украины с бандами хищного империализма».

До чехословацкого мятежа оставалось меньше месяца.

Причерноморские степи Таврии кипели страстями. Австрийцы едва успели выйти к берегу Южного Буга, где разгорелся бой с рабочими николаевских судостроительных заводов, а в тылу у оборонявшихся городская дума тихо захватила власть и послала письменное приветствие оккупационным войскам. Не успела нога первого интервента ступить в город, как солдаты-фронтвики, большевики и местные рабочие подняли антиавстрийское восстание. Приказ о разоружении стал поводом и искрой, а еще вести о таком же восстании пришли из соседнего города-побратима Херсона. Повстанцы получили помощь от матросов из Крыма, захватили большую часть города и продержались четыре дня.

В Херсоне шло все подобным сценарием: народные дружины забирают власть у большевиков, новые власти посылают официальное приглашение австрийцам с просьбой занять город, и на следующий день фронтвики, успевшие свык-

нуться с оружием и не способные добровольно расстаться с ним, начали палить в австрийцев, причем не только из стрелковых калибров, но и огнем корабельной Днепровской флотилии. Анархист Мокроусов прибывает на помощь с отрядами черноморских моряков, смирившиеся было разошедшиеся по домам красногвардейцы возникают из подполья, и новое детище революции — набранные из местных военнопленных и распропагандированные интернационалисты — тоже берет в руки оружие. Венгры, австрийцы и чехи из коммунистических отрядов стреляли в венгров, австрийцев и чехов, носивших форму двуединой монархии. Восставшие отвоевали думу и вокзал, вытеснили интервентов на окраины города. Херсонское восстание продержалось дольше Николаевского, было задушено 5 апреля, что стоило оккупантам двух тысяч голов — больше, чем потери за все наступление по Правобережной Украине.

Так случалось довольно редко, чаще в городах и селениях шла грызня между местечковыми атаманами, партиями различных толков и мастей.

Крым кипел страстями. Там смешивались потоки и течения. С запада, от румын и австро-венгров, на полуостров уходили остатки войск, партизаны Бессарабии, матросы Дунайской флотилии и черноморцы, а с кавказского берега выгружались пароходы, загруженные русскими войсками, снятыми с турецкого фронта. Феодосию запрудили армянские ударники с Кавказа, румынские большевики из Констанцы, остатки сербского легиона из Одессы. Вавилонская многоголосица царил на улицах и в порту. Солдаты по-хозяйски заняли роскошные дачи на побережье. Топили изящной мебелью костры и варили на них себе еду в котелках, покрывали рынки саранчой, могли позволить себе любую себуку и продавали все подряд, вплоть до турецких невольниц, вывезенных из Анатолии. Турчанки шли от двухсот до двух тысяч рублей и раскупались единоверцами — крымскими татарами.

С середины января в многонациональном Крыму заваривалась «добрососедская» каша. Татары не собирались идти за большевиками, а хотели возрождения Крымского ханства, формировали национальные отряды «эскадронцев». Началась взаимная этническая резня. В боях за Ялту дрались на штыках, трупы лежали на улицах неубранными. Через несколько дней подошли из Севастополя миноносцы, стали крыть по городу из орудий. Паника загнала людей в подвалы, превратились в развалины лучшие гостиницы и магазины. Прокатились татарские погромы, грабежи, поджоги деревень, — уцелевшие жители бежали в горы. Татары отвечали той же монетой, вырезая всех без разбора, под горячую руку попадали местные греки и армяне.

* * *

Вика открыла глаза. Снова один и тот же полусон-полубред. Петр стоит перед ней, виновато опустив руки, пчелы заволакивают его тело, остается лишь лицо, но и оно медленно скрывается под живой пчелиной кашей, будто в болоте. Глаза долго смотрят сквозь шевелящихся пчел. Вики в руках копые, она бросает его в Петра, копые вонзается в тело и ударом своим спугивает пчел — они всей тучей улетают. Остается он с копьем в боку, но взгляд его не меняется.

Она вздрогнула, растворила веки. Петр сидел у ее кровати, взгляд все тот же, что и в горячечных ее видениях. Вика долго смотрела на него, ждала, что он шевельнется, увидит, что она не спит, поведет в сторону затуманенный взгляд.

«Скоро не мне, а ему нужна будет сиделка».

Петр вспоминал, как нынче утром на пути в булочную видел гарцевавших по улице немецких улан. Разъезд катил, не разбирая дороги, занял всю ширину мостовой и растекся флангами по обоим тротуарам. Прохожие сторонились к домам,

заскаквали в переулки и отворенные калитки дворов. Лихой усач в кивере, изображая средневекового рыцаря, тупым концом пики с разгона протаранил вывеску на сапожной мастерской «Шишман и сыновья», и та со скрипом завращалась вокруг горизонтального железного прута, на котором была подвешена. Ловкий удар поощрила приятельская бравада: «Hoch! Hoch! Hoch!»

В булочной скопилась небольшая очередь, сразу видно — из России: глядят на полновесные полки отвыкшими дикими глазами, не могут сразу поверить и прийти в себя, набирают помногу, жадно, с довеском.

Петра отшатнуло потоком взглядов, быть в этой очереди он больше не мог, ушел в другой магазин, дальний, хоть и с более скверной пекарней...

Вика разжала простынь, сказал ему тихо:

— Я вижу, как ты мучаешься около меня. Все это напрасно. Ты ничего мне не должен. Я хочу, чтобы ты знал: окажись на госпитальной койке перед моими заплаканными глазами Щерба, Цейдлер или даже Новиков, история была бы та же. Я прошла бы с ними их путь беспрекословно, с покорностью, как прошла твой. Дело не в тебе. *Мне* хотелось той свободы и любви. Мне, а не тебе. Ты просто попался под руку, как Новиков попался мне после неудачной интрижки позпрошлой зимой.

— Перестань. Зачем ты себя унижаешь?

— Я вовсе не унижаюсь, я говорю тебе правду.

Петр закрыл лицо руками, согнувшись пополам, долго сидел так. Из полуприкрытых глаз Вики катились слезы. Петр, наконец, поднялся, убрал руки с чистого, абсолютно сухого лица.

— Я все же не буду торопиться с отъездом. Ты мне не чужая, позволь уж поставить тебя на ноги, а потом провалиться сквозь землю. Хотя бы в память о нашей детской дружбе.

Он не дождался ее воли и вышел из комнаты.

Вика к вечеру встала с кровати, ходила на кухню. На следующий день бодро вышла глянуть на голый бесснежный дворик. Сама удивлялась переменам в себе и думала: «Еще сочтет меня симулянткой. Плевать, теперь все равно, что ему взбредет».

Петр собирался тайно, беззвучно. Почистил и смазал револьвер, сносил к Шишману сапоги для ремонта, выстирал и подлатал свое белье. Много продуктов набирать в дорогу не стал, слышно было: там, где немцы, магазины работают. Немного денег у них снова появилось — Ева Каземировна продала часть своих драгоценностей.

Он собирался уходить на рассвете. Дом притих в ожидании. Бабушка порядком измоталась от своих вечных миротворческих лавирований между супругами, ни во что не вмешивалась, ничего не говорила. Петр всю ночь не спал, рассчитывал, как поступит поутру: молча и тихо покинет жилище или все же стукнет в ее комнату, шепнет прощальное через дверь, не отворяя ее, а может, громко впечатает дверное полотно в косяк, не сказав доброго слова ни ей, ни бабушке, ни самому дому.

Вика разрешила его метания, сама вошла к нему за час до рассвета. Она комкала в руках кружевной носовой платок, в темной комнате глаз ее было не видеть, но голос отдавал слезами и нос изредка шмыгал.

— Петя... прости, если можешь...

— Это ни к чему. Абсолютно не за что...

— Я думала эти три дня и, знаешь, мне кажется, я тебя ненадолго любила. Нет, не прапорщика Хвостова, а скромного мальчика в матроске... Как и он полюбил не сестру милосердия, а девочку, только бросившую играть в салки.

Голос Петра нервно дернулся в темной тишине:

— Ты права, я полюбил ее, не тебя.

Больше сидеть здесь не было сил. Он наощупь поймал ее руку с сырым платком, хотел нагнуться и поцеловать ее, но натолкнулся на искавшие его губы, мимолетно коснулся их и отпрянул, боясь, как бы не подумала Вика чего-то ненужного, как бы не переросло все это в такое, на что они сами негласно наложили запрет.

Петр вырвался из дома. У калитки он услышал слабое, забитое слезами:

— Подожди... комендантский час еще...

Петр отчаянно отмахивал саженные шаги, почти прыгал на яростных ногах. В голове стучалось: «Переночую на вокзале, а завтра вернусь. Она все простит, она уже простила, и я простил ее тоже. Да и чего прощать-то?! Ох, дураки мы, какие же дураки!»

ГЛАВА XVIII

Немцы засыпали Москву гневными телеграммами: «Мы же договорились — войска свои с Украины выводите, всякую большевистскую агитацию прекращайте». Из Москвы недоуменно разводили руками: «Наших войск на Украине нет. Те, кто сопротивляются вам, имеют статус вольных батальонов. Эти автономные отряды наших приказов не слушают, подчиняться никому не желают, воюют против вас на свой страх и риск». И снова вспыхивали тут и там бои на путях немцев.

Большевики отходили, но сеяли в полях Украины густую партизанщину, оставляли крестьянам оружие и припасы. В Гуляй-Поле отряд Нестора Махно получил шесть орудий, три тысячи винтовочных стволов и одиннадцать вагонов снарядов и патронов к ним. Цифры эти скоро оправдаются, для поимки анархистского батьки выделяют крупные силы, и у немцев долго будет скворчать залитое зашкуру раскаленное сало.

Единой и непорочной силой чувствовала себя сытая самостийная рука, подчиненная Украинской Раде. По-хозяйски смотрели возрожденные из небытия казаки на занятые города, на поля, луга и нивы, очищенные от снега, от большевистского и анархистского «сметья». И не знали гордые казаки, что немецким командованием уже подписаны требования об их разоружении, зреют в правительственных кабинетах Центральной Рады указы о демобилизации. Мавр сделал свое дело, теперь он мог уходить.

С приближением оборванных красногвардейских отрядов в украинских деревнях и селах население часто бежало в леса, торопилось укрыть в них скотину, ценные вещи. Впереди отрядов летел слух, что все это исчезает в красных обозах под красивым лозунгом «эвакуация, сбережение от немцев».

Объявленная большевиками в Слободской Украине мобилизация дала обратный эффект — массовое крестьянское восстание. Эвакуация ценностей на восток озлобила жителей, харьковские рабочие — оплот и локомотив советской власти — выступили против вывоза из города заводов, сырья и продовольствия. Под заводские гудки собирались рабочие демонстрации, посыпались призывы к восстанию против большевиков.

Первого апреля германские войска заняли Сумы и Ахтырку, на следующий день — Екатеринослав, а седьмого числа — Харьков, вышли к условной украинско-русской границе, но натиск сбавлять не спешили. 9 апреля немцы перешли границу России, захватили Белгород и Льгов. Во времена изменения границ и перекройки карт западные российские рубежи пролегли по довоенным границам Курской и Воронежской губерний. Немцы с этим не стали считаться, у них были свои планы: идти до тех земель, куда местное население говорит на суржике.

В середине апреля немцы появились в Валуйках и Изюме, начали забирать

Луганск в кольцо. К концу месяца город был эвакуирован, а части, его оборонявшие, отступили на Дон к станции Лихая, где их встречали и разоружали отряды белого казачества. Немецкие войска шагнули в земли Донского войска, захватили станцию Чертково, перерезав красным отступление на Воронеж.

Приазовье гремело из края в край пальбой. Вольные отряды Махно и Маруси обороняли Гуляй-Поле, станцию Пологи, кровью метя дороги, отступали на Бердянск, растворялись в редких перелесках и бездонных степях. Этими же местами от самых румынских рубежей брел тысячный офицерский отряд Дроздовского, пробиваясь с боями, он лавировал между красными отрядами и австрийскими заставами, шел на соединение с Добровольческой армией Лавра Корнилова.

Шерстили дороги конные разъезды, мотались по рельсам платформы бронепоездов, кочевали в расшатанных теплушках с фронта на фронт разноликие армии. Бились, рассыпались от ударов, таяли, потом снова собирались на новом месте, унавали друг друга, недолго радовались, поминали погибших, проклинали врагов.

Мужик в деревне глядел на все эти приливы и отливы пестрых войск, провожал их долгим взглядом, шел в сарай править борону. Снег хоть стоял быстро, весна выдалась холодная, с частыми северными ветрами, с ночными морозцами.

Андрей Калинин открыл глаза, баба его хозяйничала на кухне, постукивала посудой. На столе был только вынутый из печи лоток, на нем из постного теста вылепленные крестики. За окном мерно звонили к заутрене.

— Праздник, что ль, сегодня? — невнятно сказал Андрей спросонья.

Пелагея, не покидая хлопот, ответила:

— Средокрестие, пост пополам переломился.

Она взяла с лотка не остывший крест, разделила его и одну половину сунула мужу.

— Опять в церкву побежишь? — пережевывая, недовольно спросил он.

— Я ж тебя с собой не зову, и ты мне не запрещаай, — порхая по кухне, бросила Пелагея.

Андрей положил на стол недоеденный кусок:

— Ты пойми, что дурят нас попы, всю нашу жизнь дурят! И отцов наших дурили, и дедов.

Пелагея молчала, помня, что на небе Бог, а на земле муж, и с тем, и с другим спорить не моги.

— Когда картинки снимаешь? — махнул он в сторону красного угла.

— Не мной повешены, не мне и снимать, — покорно ответила Пелагея.

Калинков потянулся к крынке, налил молока, стал дожевывать печенье. Жена его плеснула себе квасу, схватила надломленный крест вприкуску.

— Исповедаться не будешь, что ль? — примирительно буркнул Андрей.

— На той неделе споведалась.

Он выглянул через окошко на улицу. Кура бродила вдоль покосившейся клуни, греблась, выбирала перезимовавшего червя, щубрила едва проклюнувшую травку. Вспомнил, как в детстве бегал с отцом в день Преполовения в поле, как собирались там другие хлеборобы, сохой рисовали круг в земле, а в нем бороздили крест. Заклинали землю от засухи и неурожая, просили всех богов, и земных, и небесных, чтоб уберег их семьи от голода. В раздумье Андрей произнес:

— Будут этот год мужики на полях землю чертить?

— Прошлый год, я слыхала, не ходили. Война многое обмертвила.

Андрей помолчал, потом что-то вспомнил:

— У москалей на поля не мужики в праздник ходят, а бабы. Или это не в тот праздник? В общем, стояли мы до войны в лагерях под Новгородом... Вспомнил: не об празднике речь, и не про поля даже. Когда у них мор на деревне, падачая у

скотины или еще какая беда, они кольцом всю деревню опаживают, а в соху бабу телешом впрягают.

Пелагея с сомнением глянула на мужа:

— Да ну тебя, придумаешь тоже.

Калинков долго гляделся в карманное зеркальце, не торопясь подстригал усы, приглаживал чуб. Потом оскалился, показывая крепкие, не травленные табаком зубы. Он тщательно почистил сапоги, обмахнул одежной щеткой свои зеленые галифе, свежий, почти не ношенный китель. В исполком собирался, как на службу в казарму.

Небо развиднелось, впервые за много дней не плыли по нему тяжелые мутные тучи. Солнце радовало землю, замелькала в воздухе первая протрезвевшая мелюзга: беззвучная, бесцветная, даже оголодавшая птица ее пока щадит, не ловит слету. Над головой плыла пена облаков — взрыхленная небесная пашня.

Андрей прошел по всем канцеляриям и кабинетам, перездоровался за руку со всеми, попросил хозяйского, свойского, от службы и политики отдаленного.

Распахнулась входная дверь исполкома, с улицы, не заходя в приемную, крикнули:

— Из Богучара делегаты приехали! В Красную Армию зазывают!

Исполком опустел. Народ с ближайших улиц собирался на площади — в основном, мужики. На ставни церковной сторожки, на заколоченные с первых дней войны двери рейнского погребца на заборы клеил безусый малый набранные печатными буквами воззвания. Усач в кожаной кепке, куртке и зеленых армейских штанах, запроваленных в сапоги, о чем-то быстро переговорил с Калинковым, и тот начал распоряжаться. Выкатили из пожарного сарая бочку, поставили перед папертью, вынесли исполкомовский стол с принадлежностями, усадили за него Тихона, велели писать добровольцев. Усач вскарабкался на бочку, прочистил горло, закричал на всю площадь:

— Возвращаются времена феодальной раздробленности, где русские удельные царьки приводили на родную землю половецкие и татарские орды в прихоть своему честолюбию! Нынче ведут буржуи и прочие кровососы на нашу землю армии интервентов! От моря до моря раскинулся вражий фронт! С Петрограда до Таганрога! Не сегодня-завтра враг снова шагнет по всему фронту на нашу изнывающую родину! Вступайте, товарищи, в Красную Армию! Обороним страну!

Тихон читал прилепленное к бочке воззвание:

«Советская власть нужна всему рабочему классу России и Украины. Рада защищает интересы буржуазии. Рабочий класс и все трудящиеся должны знать, что приспешники Рады, помещики и австро-германские “землемеры” за свой “труд” оципали Украину. Аппетитам захватчиков нет предела.

Советская власть несет рабочему классу и крестьянским массам жизнь и счастье. Победа Рады закабалит трудящихся. Снова помещичья нагайка засветит над головами хлеборобов.

Граждане! Если вы не хотите рабства — защищайте РСФСР. Помогайте авангарду революции — партии большевиков изгнать врага свободы с полей Родины».

Рядом с ним водил взглядом по буквам с новой орфографией старик Утянский. Когда оратор закончил, старик гневно взмахнул головой, два Георгиевских креста его цокнулись о медали:

— Так вы же сами, паразиты, причитали: «Долой войну! Бросай фронт, тикай куда подальше». Теперь и расхлебывайте!

Усач взглянул себе под ноги, где стоял Утянский, хладнокровно произнес:

— Не шуми, батя. Не мы фронт разваливали, а черная анархия. Не тебе про то знать и судить нас. Тебя, отец, на фронте не было.

— Меня не было, — со слезами в голосе выдал Утянский, — да я и так вижу. Таких горлопанов и у нас до черта прибегло. Не захотели немца на границе держать, так он к вам сюда приперся.

Голос Утянского дрогнул и прибавил он еще, казалось, совсем не к месту:

— И сынок у меня в плену немецком остался..

Оратор старику ничего не ответил, глаза устремил снова к толпе:

— Армию императорскую развалили не мы, а Керенский со своей шайкой. Но мы построим новую, не хуже прежней! Вот указ Наркомвоендела от 27 марта! — он достал из-за пазухи бумажку, не развернув, махнул ею. — Он ликвидирует штабы, расформирует старые управления и отменяет солдатские комитеты! Снова вводит обязательный призыв в армию и принцип единоначалия.

Услышав о любимых и дорогих комитетах, часть толпы заропгала:

— Как же так, для чего революцию делали? Для чего боролись и комитеты учреждали?

Другая часть народа ответила:

— Правильно большевики старую армию взад вернули, теперь будет дело.

Тихон дернул за рукав мальчика, что клеил воззвания, спросил тихо, кивнув на оратора:

— Командир ваш? Как фамилия?

Молодчик охотно разговорился:

— Прокопенко. Нашенский, богучарский. На войне был, а с зимы, как домой вернулся, уездную милицию возглавил. Мы его командиром отряда избрали.

— Граждане! Земляки! Вот-вот загрещат под немецким напором хрупкие рубежи нашей неокрепшей Родины! — умело гвоздил словами Прокопенко. — Богучар и весь наш уезд стоит первым на пути врага, и нам одним его не остановить. Острогжцы! Соседи наши родные! Рухнем мы, и вам в одиночку не устоять. Сплотимся, выйдем вместе к рубежам! Встретим немца и гайдамака, не пустим в родной дом!

По щекам Утянского катились слезы, он резко и высоко выкинул руку:

— Пиши меня первым, сынок!

Минута была отчаянная, в толпе никто не улыбнулся. Прокопенко тепло взглянул на старика:

— Похвально, батя. Спасибо за поддержку, за доверие... Может, кто помоложе найдется? — кинул он вновь в толпу.

Мужики стояли, чесали загривки. Нет, немец не дойдет сюда, сомнительно, чтоб он был теперь так близко к Богучару и к их родному Белогорью.

ГЛАВА XIX

Калитка хлопнула, и дворик опустел. Ранний, не проснувшийся город отзвучался торопливыми шагами, они отдалялись, становились тише и слабее, но все тяжелей стучали они в колотившемся Викином сердце. В тот день Вика впустила в себя надежду, будто все повернет вспять ее правильная реакция. Если Петр ушел на войну, то и Вике снова стоит податься в милосердные сестры. Она собрала минимум вещей и белья, одела сохраненную сестринскую форму, не простившись, тайком от бабушки выбежала из дома.

Идти в госпиталь к немцам, а тем паче к самостийникам, она не желала. Путь один — на вокзал. Может, и Петра удастся там встретить? Она все ему скажет, он поймет, сможет простить.

На вокзале сутолока: толпы прибывающих из России, воинские эшелоны для отправки на восток. Вика разглядела ухоженный, не разбитый эшелон. На каждом вагоне отчетливо стоял Красный Крест, и кое-где виднелись датские флаги.

Ноги понесли ее к новенькому составу. У вагонов с привокзальным лавкам степенно ходили сестры в такой же форме. Что и у нее, лица курносые, рязанско-новгородские, голоса родные:

— Татьяна! У тебя место багажное еще свободно под койкой?

— Все, все забито.

— Эх, маслице какое хорошее вон у той торговки, жалко упускать.

— Вот обрадуем родных-то, привезем домой всего.

— Наши с января впроголодь живут.

— И у нас тяжело с продуктами.

— Не знаете, керенки здешние бабы принимают?

У Виктории губы сами собой растянула добрая улыбка, — с ней она и подошла к болтавшим подругам:

— Здравствуйте, сестрицы!

— Привет, девушка, — бойко ответила одна. — Ищешь кого?

— Да... мне бы на службу, могу даже нянечкой.

Вику смерили быстрые глаза:

— Зачем же нянечкой, черную работу есть кому делать. У нас в сестрах вакант.

Ты с практикой? Где служила до этого?

— Была в госпитале, а потом на фронте два месяца.

Сестра с бойкими глазами взяла Викторию под руку:

— Пойдем, отведу тебя к Цацкину. Он у нас старшим, все решает. Очень энергичный еврей, с ним приятно иметь дело. Есть еще один главный, Датчанин, но управляет всем Цацкин.

Девушка назвалась Татьяной Варнак, Виктория тоже представилась. Цацкин быстро оглядел ее, задал пару вопросов по сестринскому делу, убедился в том, что Вика пришла не с улицы, велел Тане проводить ее в канцелярию и помочь разместиться.

Таня охотно хлопотала, ухаживала за Викой, повела в свой вагон, усадила на скамейку, налила чаю и выставила все, чем была богата. Мадам Хвостова, давно не выдавшая такого изобилия, уплетала бутерброды и слушала новую подругу с вниманием.

— Мы в конце зимы из-под Великих Лук выехали, еще до немецкого наступления, — говорила Варнак. — Датчанин наш, атташе из посольства, собрал целый поезд австрийских и венгерских офицеров, в основном калечных, договорился с большевиками и повез их на границу менять на наших инвалидов. В поезд с бору по сосенке собирали, ну, сестер ему удалось по летучим санитарным отрядам набирать, а баб в прислугу из местных псковских крестьянок скликали. Цацкин строгий, шалостей не терпит, за первые два пропуска — выговор и штраф, а за третий высаживал прогульщицу из поезда на ближайшей станции. Но человечный. Одна из баб вышла замуж за нашего же санитаря, и доктор организовал пышную свадьбу, всем составом гоняли на санях в церковь и даже в пустом вагоне устроили бал!

— И что, с зимы никак не доедете до границы? — допив чай, спросила Вика.

— Граница к нам быстрее доехала. Уже за Киевом узнали, что немцы нам навстречу наступают. Мотались Украиной, а по договоренности обмен должен в Бродях состояться. И тут снова война, неразбериха. Один раз попали в Елизаветград. Город только после налета Марусиного. Про атаманшу такую слыхала? Все разграблено, дома дымятся, на вокзале — кавардак, ящики разломанные, люди все растеряны, никто ничего не знает. Потом вышли на одной станции на весеннем солнышке погреться, и красноармейцы налетели. Увидели нас и баб-санитарок в белое одетых, посчитали всех за милосердных сестер, стали требовать у старшего врача: «Вы обязаны поделиться с нами своими сестрами! Нам идти в бой, защи-

цать вас!» Цацкин еле достоял наш поезд, велел запереться нам в купе и не показывать носа на улицу. Ехали дальше, как в тюрьме, боялись вагон раскрыть, еще два раза красноармейцев встречали. Под Винницей немцы нас «захватили», разобрались, что к чему и кто мы такие, новый паровоз дали. Проехали мы совсем немного, как в другой стране оказались! На станциях чистота, порядочек, продуктов много. Приехали в Броды, австрийцев наших с рук на руки сдали. Многие плакали у них, говорили: «Нас сейчас в лагеря отправят, там от большевизма отчистят, подлечат и на Итальянский фронт пошлют или под Салоники. Лучше бы мы у вас остались, голодную смерть принимать».

— Ты же говорила, что австрийцы все инвалидами ехали, — слушала внимательно Вика.

— Нет, не все, больше там было раненых, с недолеченными болезнями. Мы их сдали, сидим, своих ждем, пока бумаги оформляют. Гуляли по городу, в синематограф ходили, не боялись, что кто-то обидит. Потом отдали нас нашим офицеров. С австрийскими и сравнить нельзя — худые, изможденные, страшные, все нервные, даже психические. Немецкий плен в сравнении с нашим... Да скоро сама увидишь. Цацкин велел тебе сегодня выходной дать, а завтра — к больным.

Напоследок Таня дала пару советов:

— Будь с офицерами осторожна. Они долго были вдали от родины, обе революции пропустили и теперь пытаются наверстать... Ты знаешь, когда их внесли в наши вагоны, перегрузили с германского поезда, они стали показывать нам кусочки сохраненного, дрянного хлеба, которым их кормили в плену, очень крошечную дневную норму. Мы, несколько стесняясь, сказали им правду, что в Питере их ждет такой же никудышный хлеб, и его так же мало, как у немцев в неволе. Они нам не поверили. А когда Цацкин пришел и деликатно попросил их снять погоны, они возмутились, ни за что не согласились, обвиняли нас, говорили, что мы провокаторы и враги России. Мы с тех пор немного подружились с ними, но отношения наши так до конца и не наладились. Они многого не понимают, не видели революцию своими глазами, а потому и не верят нам. Цацкин выбил для них разрешение остаться на Украине, а они все же хотят ехать в Питер. Даже офицеры-украинцы — и те из братских побуждений едут на север. Они уверены, что им там назначат лечение, пенсию и подарят протез.

Вика легла рано и наконец выпалася. Наутро ее повели к больным. Одеты они были хорошо, аккуратно, успели немного подкормиться в пути и уже не выглядели так ужасно, какими их встретил поезд в Бродях, но внутри русских офицеров все трепетало, спорило, боролось. Они скупали на станциях кипы газет: украинских, кадетских, эсеровских. Везли из плена большевистскую литературу, добытую в те времена, когда немцы ее еще не запретили. Сестры больных успокаивали, упрасивали, молили, разлучали самых рьяных противников по разным вагонам. Ничего не спасало. В каждом купе гремела своя баталия:

— Большевики ваши трусы и дезертиры, милейший! Всю войну по тюрьмам просидели, в тылу бунтовали да в комитетах заседали!

— Они такие же мои, как и ваши! И я вам не милейший.

— Был у нас триста лет тому Гришка-Расстрижка! Сжили его со свету, только он Русь святую успел чуть не до смерти поранить. Теперь нового Гришку со свету сжили, с ним и России-матушке конец...

Споры вспыхивали молниеносно, яростно, кипели недолго, быстро выматывали слабых еще офицеров. В солдатских вагонах было все проще. Доставал безногий двадцатилетний молодец самодельную скрипку, смастеренную из палки и консервной банки, клал на телефонные провода, они же «струны», смычок, сплетенный из белого, почти бесцветного волоса, заводил нехитрую деревенскую плясовую. Она быстро надоедала, музыканта просили «заткнуться» — плясовая уми-

рала. Скрипач натирал вместо канифоли куском елового ладана жилу смычка, любовно оглядывал ее, почти перетертую, бормотал вслух:

— Где б кобылку белую встренуть? Осиротится скоро скрипочка.

Ему сочувствовали, советовали:

— А какая кобылка нужна? Может, сестру Дашу попросить, она тоже пегой масти. Бабий волос сгодится?

Солдатский вагон гоготал дружно, потом заводил простецкие разговоры о земных переживаниях: о доме, о том, как в нем встретят, как убиваться будут по уже похороненному и вновь воскресшему, по калечному, почти для работы и жизни не годному воину.

Вика слушала их, иногда завидовала крестьянской простоте, глядела остановившимся взором на механический календарь с термометром в корпусе, выпущенный к трехсотлетию дома Романовых с профилями первого и последнего царей. Авторы календаря тогда не подозревали, что их нечаянное предсказание о роли замкнувшего династию монарха окажется правдой. Виктория отсчитывала дни, проведенные в поезде, с запоздалой обидой и горечью думала о том, что Петр вернулся в бабушкину киевскую квартиру, мучается и ждет ее там.

* * *

Чем дальше Петр был от дома в Киеве, тем меньше его тревожило чувство, с которым он этот дом покидал. Он помнил свое желание и обещание самому себе, переночевав на вокзале, вернуться к жене, но с каждым днем удалялся все дальше и дальше от нее. Хвостов ехал на поезде до тех пор, пока поезда ходили, потом полпелся вдоль насыпи пешком. Один раз его задержал немецкий патруль, обшарив карманы, забрал пистолет и отпустил на четыре стороны, предупредив, чтоб не шастал, где попало, а то попадет к украинской варте, а там так просто не помилуют: посадят в холодную и влепят горячих. Петр любезно поблагодарил патруль на немецком, и по пути вспомнил о первой своей встрече с вартой.

Сразу за Киевом он увидел их на станции. Все немолодые, старше тридцати, кукольно-разодетые: синие жупаны, увитые по груди шнуром, широченные малиновые шаровары, плоские серые папахи с чудовищно длинными яркими шлыками. Манлихеры, маузеры, кольты, пулеметные ленты крест-накрест, шапки и нагайки. Диковина, колоритность, эпатаж. Бойкая пожилая торговка презрительно смотрела на этот наряд, выплюнула вместе с подсолнечной шелухой упрек:

— Зніми свій бриль, нэ позорься.

Гайдамак широко раззявил рот в усмешке, стянул шапку, и под ней открылся голый череп с жидким оселедцем. Он удовлетворился новой волной изумления у торговки и всерьез замахнулся плетью:

— Я т-ті-бі, стара курва!

Его сотоварищи в улыбках не отставали, одаривали встречающих. Настроение бойкое, победное, тут же затянули народную песню: празднично шатающиеся по перрону девки подвалили к ним гурьбой, защебетали, разглядывая амуницию и оружие.

— Как на ярмарке, только карусели не хватает, — негромко произнес пассажир в кителе с железнодорожными петлицами.

Он выждал немного, следя за реакцией соседей в вагоне, опять перевел взгляд в окно:

— Вся эта бравада напускная. Мы, дескать, свои, ласковые и родные, но приглядеться... за улыбкой хам и кат. Я родом из Дебальцева, сейчас на родину еду... У нас в округе череспосоца: русские деревни и хохлячьи. Так вот с детства помню эти пропитые и наглые рожи. Сам ребенка в русскую школу ведет, а дома ему

про жалких москалей на ночь сказки болтает. Вот оно их время, посылали маски. Кроважадные мстители, и не капли благодарности.

На соседний путь подплывал эшелон, на открытых платформах пушки, по стенам вагонов желто-голубые знамена, лозунги: «Гэть сміття з нашої хати!», «Бий жидів та комиссарів». Гайдамаки торопливо целовали и щупали девок, вскакивали на платформы.

Петр, уходя от немецкого патруля, с презрением клял себя за вынужденную любезную манеру, но все же радовался, что это не варта.

Днем позже он услышал перестрелку впереди себя, сошел с полотна, стал забираться круто в сторону, огибать бой с фланга. Хвостов обходил его целый день по широкой степи и глубоким оврагам, боя не терял — стрельба, затухая, разгоралась вновь, — а к вечеру уперся в часового. Часовой окликнул его, вскинул револьвер и, позевывая на ходу, скреб затылок.

— Еще одного офицера словили, — привел он Петра к командиру.

Отряд стоял посреди степного хутора, по соседству, на станции, продолжал зудеть вялый бой, а здесь царил покой, никто не торопился выручать соседей. Штабная хата, где сидел командир, выходила окнами в полыхавший цветом ухоженный сад — траву и землю под ней запорошило розово-белыми лепестками. Начальник отряда в сатиновой алой рубашке под обрезанной короткой шинелью выплюнул на пол окурков, спросил часового:

— Что, и этот шпионил?

— А то как же? Идет, вынюхивает, крадется даже. На станцию поглядывает, где наши бьются, точно для обхода посланный, дорогу разведует.

Командир посмотрел на Хвостова:

— Шпионил?

Петр сильно не испугался, понимал, что люди в отряде новые, с военной службой знакомы слабо, потому и мнительные. Сейчас он им все расскажет, и они разберутся.

— Вас искал — правда, но не для шпионства, а примкнуть хотел.

— Ну, это песня старая, — простецки махнул командир, — все так говорят.

В голосе его не было злобы, а поэтому и Петр не волновался. Командир обратился к часовому:

— Капитана «к Духонину» повели уже?

Часовой привычно почесал в затылке, потом увидел что-то в окне за спиной командира, встал на цыпочки и ответил:

— Да вон ведут только.

Командир распахнул окошко, подозвал Хвостова:

— Иди, глянь. Может, знакомец твой? Утром только поймали.

Петр заглянул в сад. Там у яблони стоял на коленях человек лет тридцати. Шинель, сапоги и другая одежда валялась кучкой недалеко, человек остался в одном белье. У него была короткая черная борода, и он крутил головой, будто с досады. Его охраняли двое: черноморский матрос скалил довольно рот, полный железных зубов, и одетый в крестьянскую свитку парень, на вид — не старше самого Петра.

— Тяни, гусак, шею, — весело велел матрос стоявшему на коленях.

Жертва зажмурила глаза, губы быстро зашептали молитву. Парень в крестьянской свитке неумело махнул саблей. Арестованный крикнул и схватился рукой чуть ниже затылка.

— Не измывайся, сволочь!.. Руби нормально, — попросил он удушено.

Палач выдавил жалкую, чуть виноватую улыбку, смешанную со страхом: «Да я, мол, по-другому и не умею». Матрос подбодрил его:

— Руку тверже! Чтоб не дрожала, а то не получишь у тебя. Давай. Давай!..

Парень с отчаянием закурил губу, тихо завыл даже. После второго удара голову жертвы скособочило, черная борода уперлась в грудь, человек повалился с колен на землю.

— Не узнаешь? — простецки осведомился командир.

Петр слышал, как быстро стучит его сердце, с трудом выдавил заледеневшим голосом:

— Не успел рассмотреть.

— Гайвороненко, покажи портрет капитанский, — крикнул командир в сад.

Матрос с усмешкой отобрал у окаменевшего хлопца саблю, отсек голову казенного, охватил ее клешнятой лапой за темя, повернул мертвым лицом к командиру. Из сада тянуло ароматом цветущих яблонь, слышался пчелиный гуд, и свирстела упрятанная на ветке сойка. Петр не зажмурился, не отвел глаз, несколько секунд смотрел ничего не видевшим взором в стекленеющие зрачки.

— Нет, не знакомы.

— А Гайвороненко его сразу узнал, — командир затворил окошко и плюхнулся на стул.

Петр почувствовал, как первый страх сменяется закипающим гневом:

— А что, если Гайвороненко соврал?

Командир заинтересованно поглядел на Петра, с минуту изучал его, потом ответил:

— Может, и так, но и капитан не чист. Три раза в показаниях путался. Сначала сказал, что от немцев бежит. Чего бы ему бежать? Потом, как и ты: к вам пристать хочу. А мы ему за каким чертом сдались? Под конец плюнул на все, признался: на Дон пробирается. Видишь? Финтил, голубчик, с самого начала. А признался б...

— И что тогда? — с вызовом перебил его Петр.

Командир недоуменно оттопырил нижнюю губу:

— Да ничего, времени б не тратил, и мы, глядишь, добрее были б. Вот я и тебя прошу: времени не трать.

— Теперь и я не знаю, за каким чертом вы мне сдались. Пять минут назад думал, что хочу драться с вами бок о бок, землю защищать.

— А теперь, стало быть, не хочешь? Скатертью дорога, мне такие белоручки не нужны.

Петр поднял на командира глаза: совсем не так прост этот бывший солдат или за кого он там себя выдает. Командир поймал его взгляд, кажется, раскусил, снова заговорил мягко и сдержанно:

— Ты думаешь, мы тут заблудшую овечку казнили? Этот капитан завтра у казаков будет, к ним каждый день такие гаврики прибывают. Дон из красного белым становится. Кайзер казакам вагонами снаряды отправлять начал. Вот и по суди: с немцами биться ты согласен, с самостийной бандой — тоже, а в офицерскую сволочь стрелять не будешь. На черта ты мне нужен? Вали обратно к немцу, откуда пришел.

Командир побродил по комнате, насвистывая популярную довоенную шансонетку, налил себе из графина чайного цвета жидкости, выдохнув, опрокинул, закурил новую папироску, между прочим спросил:

— Где воевал?

— На Юго-Западном, прошлым летом.

— В Керенском наступлении, — поощрительно и весомо оценил командир. — У меня в отряде людей обстрелянных мало, фронтовики по хуторам сидят, воевать за три года им надоело.

Петр ничего не говорил, хотя и понимал командирские намеки, не хотел напрашиваться, но в любом своем слове видел только это.

— Гордость твоя на пользу не пойдет, скоро и сам увидишь, у меня в отряде ребята с крутыми нравами, — говорил командир, будто Петр о чем-то просил его. — Выйдешь из штаба, найдешь моего комиссара, скажешь, чтоб сводил тебя к обознику, там ружье выдадут.

— А бумажку черкнете? — недоумевал Петр, кивнув на стол с чернильницей и пресс-папье.

— Ступай, — небрежно отмахнулся командир и, закутавшись в дымное папиросное облако, отгородился от мира.

Петр остановился в дверях, обернулся:

— Почему вы поверили мне? Может, я тоже на Дон.

На командирском столе забубылка горлом графин, из тяжелого табачного облака раздался ленивый голос:

— Иди, хлобыстни.

Хвостов стремительно вернулся к столу, с размаху рванул полный стакан, очевидно упавший в пустой желудок, и на веселых ногах пошел отыскивать комиссара.

К ночи стрельба на станции улеглась. Оттуда доходили слухи, что весь день штурмовали ее отряды самостийников, а завтра немцы подгонят бронепоезд и станцию никак не удержать. Лагерь, куда попал Хвостов, тоже укладывался, готовился к завтрашнему неминуемому переходу. В хуторе шли неторопливые сборы, люди с ленцой передвигались от телеги к телеге, готовили на кострах кашу впрок. Под кустом ходил по-большому малец лет четырех, рядом сидел старик в теплой шапке, держал на руке хлебный мякиш, сытно чавкал. Много было в обозе детишек и баб — самые убежденные коммунисты отступали с семьями. До Петра не было никому дела, он завалился под розвальни и проспал до темной ночи.

Его бесцеремонно били в подошву сапога, приговаривая:

— Эй, бекеша, встань хоть кашицы похлебай.

Петр открыл глаза, над ним стоял темный человек и все еще пинал сапог Петра. Позади человека горел костер, лица было не разобрать.

— Чего пристал? — выдавил Петр сиплым спросонья голосом.

— Иди, пожри, а то не останется, — не обиделся грубому вопросу незнакомец.

Петр несмело подошел к костру, от вечерней беззаботности и бродившего по жилам стакана «чая» не осталось следа, Хвостов чувствовал себя чужим и ненужным. Котел только сняли с огня, каша была раскаленная, жидковатая. Бойцы сдвинулись плотнее, один протянул запасную ложку Хвостову. Дули на пар, оголяя зубы, хватали ими кашу, гоняли во рту, втягивали воздух, студили еду.

— Ты, бекеша, чей будешь? — спросил один, с головой, стриженной уступчиками.

— Меня Петром зовут, — не сразу ответил Хвостов.

— Да мне до задницы, для меня ты Бекеша, — не взглянув на Петра, продолжил боец с неумело оглоданной головой.

Кажется, это он будил Петра к ужину. Другие бойцы переглянулись:

— Хех, Ларька глаз на бекешу положил. Береги одежду, парень.

Петр реже окунал ложку в котел, украдкой изучал бойцов по их лицам. Эти двое, видать, не разлей вода, оба крепкие, угловатые, в поношенной солдатской форме, воюют давно, а командир говорил, что таких в отряде мало.

Пожилой крестьянин в серой домотканой рубахе и нагольном кожухе, лысина морщинистая, будто плетью исполосованная, руки с коричневыми, изъеденными грибок ногтями, в армии если и служил, то давно, мобилизацией не задетый — что его с родного места стронуло?

Худой, пронырливый, веселый, скорее всего — приморская шпанка, повзрослев в войну, всю ее проворовал, проскитался в тюрьмах и шалманах.

Этот, с головой, будто таякой стриженной, купился на громкие лозунги и безнаказанность, всю жизнь свою недолгую просидел на хуторе, мира не видел, стар и млад держал его за дурачка, теперь он вырвался, теперь он всем покажет. Петр научился определять такую породу, посмотрелся на митингах, этот из тех, что кричат: «Дай отгуляю в эти три дня, как за всю жизнь, а что дальше будет — мне нипочем».

Хвостов наслаждался этим своим изучением, даже если было оно ошибочным. «Не армия, бродячий цирк. Обманутое дурачье», — подумал и наткнулся глазами на совсем иное лицо. Сначала он увидел студенческую тужурку, не зря сказано, что «встречают по одежке». В свете костра поблескивали пуговицы с университетским клеймом: какой-то технологической мешаниной. Петр рассмотрел тонкие линии породистого лица, добрые, почти ласковые глаза не разочарованного неурядицами юноши, невольно подумал: «А ведь год назад я сам был таким, витающим, взволнованным, не одеревеневшим. Интересно, дорос ли я до прошлогоднего Ростоккого? Нет, конечно, нет, до Ростоккого я во всю жизнь не дорасту. Возможно, встал на место Збронеза».

Бывший студент поймал взгляд Хвостова, улыбнулся ему глазами, подморгнул приветливо. Петр кивнул в ответ, тоже слегка улыбнулся, хотел было отозвать его в сторону, но остерегся, как бы другие чего не заметили. Когда ложки стали черпать по дну котелка, тот, чью голову так неловко обкорнали, цыкая и выдавливая из зубов крупу, проговорил:

— У нас, товарищ Бекеша, принято новенького на помывку котла ставить.

Он долго смотрел на Петра в упор, пока тот не буркнул:

— К завтраму вымою.

Ларька загоготал, довольный тем, что Петр своим нарочито-простецким говором подстраивается к их отряду и к нему лично.

Хвостов скрыл брезгливость на своих губах, отвернулся от костра, сплюнул ее в темноту.

Стали укладываться на ночлег. Ларька кутался в дорожную, но уже замызганную в походе шубу, кряхтел, между делом приговаривал:

— А под бекешей-то тепло спится, надо попробовать.

К их костру кто-то шел, похрустывая прошлогодней высохшей травой. Костер еще не угас полностью, и в его свете появился низкорослый кругленький молодчик. Стал прощаться с каждым:

— Бывайте, товарищи, ухожу из отряда завтра.

Волос у него был белесый, возле переносицы Петр разглядел бородавку.

— Куда ж ты, Никита? — спросил бывший студент.

— По приказу начальства — в подполье, вернусь в Юзовку, буду партизанить.

— Тяжело в здешних местах, — почесал изрубцованную лысину пожилой, — если только в шахту нырнуть, так ведь и там не скроешься.

— Справимся, Анисим, — бодро отвечал шустрый молодчик. — Но и вы на фронте не подкачайте! Даваните там немца, чтоб с него весь империализм посыпался!

Никите обещали, жали руку, хлопали по плечу, желали всего хорошего, а он прощание превратил в маленький митинг:

— Не забывайте: большевики — это наш путь. Они встряхнут дремлющую на обочине истории Россию, как когда-то встряхнул ее царь Петр. Хоть и был он кровопивец, а политику понимал, модернизмом в народ наш темный внедрял. Большевики — это, братцы, летящий на всех парах паровоз в противовес нашим старым разбитым розвальням. Бейтесь за будущую жизнь беспощадно, а мы тут, на Донбассе, встречный фронт откроем.

Юзовского партизана поглотила ночь, и у другого костра зазвенел его задор-

ный, зовущий к подвигу голос. Потом все стихло. Блеснул последний огонек среди красных углей и исчез. Подернулись серой пленкой остывавшие угли, распались на части. Близко пела мать своему беспокойному ребенку: «Ай-бай, ай-люли, чужим диткам дули. Мыколе дам калачик, чтоб Коля був бедовый».

Петр смотрел в открытое небо, давно он под ним не ночевал. Те времена, до сегодняшнего вечера, казались ему самыми тяжкими в жизни. Теперь он знал, что там и тогда, в Галиции, это были славные ночи и дни. По темному куполу прочертил борозду упавшей метеор. Один из бойцов «не разлей вода» тоже смотрел на небо и тихо проговорил, обращаясь к соседу:

— У нас в тайге, я мальцом еще был, звезда за сто верст упала. На всю губернию грохоту было. В ту зиму, помню, медведи в огороде выли, а иной раз и в хлева к скотине лезли. И ведь в чем фокус: схоронится в хлеву, а скотину не трогает. Видать, гнало его из тайги чего-то.

Петр все ждал, что товарищ рассказчика или кто иной прервет его, обвинит во вранье, мол, звезды с небес не сыплются, и медведь не воет, как волк, и если заходит посреди зимы к жилью, то задирает коров безжалостно, но товарищ его, видимо, земляк и тоже таежник, с доверчивой теплотой отозвался, выкатывая тележным колесом букву «о»:

— То не диво. Вот у нас цельна деревня пропала, со всем народом. Охотились мы с шурьяком в тех местах, зашли до них, хлеба выменять — ни души. Скотина не кормлена по сараям ревет, коровы не доены. В избах все как было, так и стоит: пест посреди ступы, валенок шилом проколотый, сито с мукой недоверяной. Ни малышей, ни старух, ни души не осталось. Как, скажи, улетели куда, в один миг.

Петр размышлял, что могло держать этих сибирских мужиков здесь, на Украине, вдали от их родной тайги, которую они не видели столько лет и по которой, безусловно, скучали. Неужели то, о чем сейчас говорил этот шустрик из Юзовки?

Утро началось с обстрела. Бронепоезд немцы подогнали ночью, а на рассвете грохнули не только по станции, сыпанули и по хуторку. В хате звякнуло под осколком окошко, из нее выскочила чумная от страха баба, свалилась под сарай, завернув юбку на голову. Оба сибиряка подняли головы, потянулись, один сказал размеренно:

— Из трех дюймов садит, что ли?

Другой поглядел равнодушно на бабьи ягодицы, на серую исподнюю юбку, кинул в нее овечьим горошиком, прибавив:

— Сильней укрывайся, голожопая, авось и верхний срам покажется.

Хохлушка встала, оправила одежду:

— Хай тобі грэць, дьявол бесстыжий!

Собирались впопыхах, про невымытый котелок все забыли, хватали вещи и скарб, валили на подводы. Матери отлавливали беспечных детей, втискивали меж узлов, сами шли среди бойцов, смешивались с ними. Гнал отряд с собой небольшую овечью отару, дворовые собаки трусили рядом, привязанные к телегам.

Пожилой, с морщинистой лысиной оказался ездовым, — он жалел лошадку, редко стегал ее, больше напирал на голос:

— Шгай, волчья сыть!.. У... травяной мешок.

Шпаненок беззаботно улыбался новому дню, непрестанно распевал тарабарщину:

— Флизентирь-флизентеры, дезертирь-мародеры.

Рядом с Петром шагал студент, долго молчал, потом кивнул на заплечный мешок:

— Отчего в телегу не бросишь? Зачем напрасно силы тратить?

Петр нехотя ответил:

— Мне не тяжело.

Фраза студента была затравочной, Петр понял это сразу. Студент назвался Львом, говорил много и долго, Хвостов изредка вставлял слова, но и этого студенту хватало, а Петр чувствовал, как тот радуется появлению Петра в отряде. Со всем скоро студент начал откровенничать:

— Знаешь, Ларька и меня постоянно подзуживает, хотя в отряде позже появился. Пристал к нам в походе, уговорил заглянуть в его деревеньку. Змиева, командира нашего, сманил тем, что в деревне пара домов богатых была. Оказались то поповский дом и еще одного крестьянина, у которого Ларька в пастухах ходил, но, видно, проворовался или еще чего набедакурил, был бит и изгнан с позором.

— И, само собой, когда время настало, мстить вернулся, — не спросил, а утвердительно добавил Петр.

— Угадал, — не удивился студент Петровой «прозорливости». — Еще на пути к родному хутору распалился. Все вспоминал дорогой, как поп был к нему неласков в школе... Священника Ларька сразу убил, не стал измываться.

Лев замолк, хотел еще что-то сказать, но рядом шагали бойцы. Петр немного приотстал, студент тоже, заговорил тише, хоть и напряженно, слова его вылетали быстро, высвобождая накопленный страх:

— Он кричал дурным от счастья голосом: «Поп меня за волосья в школе драл, а я теперь его племя не так выдеру!» Потом выволоч на крыльцо пожилую попадью и изнасиловал на глазах у отряда, приговаривал: «Не зря революцию делали». Толпа местных сбежалась, я слышал, говорили, что сын священника погиб в прошлом году на фронте, а дочь работает в городе учителем, хорошо, что так, а то бы еще две души сгнуло. Отряд разносил имущество священника по карманам и телегам, торопил Ларьку, мол, где вторая хата, которую наказать надо. Ларька застрелил униженную старуху, повел отряд к своему бывшему «пану», такой же крестьянской крови, как и сам Ларька. Там, пока шло безобразие с поповским домом, успели принять меры: на пороге стоял один лишь хозяин, всех домашних своих он куда-то упрятал. Ларька сбил его на землю прикладом, потом подошел к бочке с дождевой водой, омочил край одежды и протянул человеку, на которого батрачил. Тот спросил: «Что, Лазарем себя почувствовал? Зря. В раю нам не встретиться». Ты знаешь, Петр, мне на секунду показалось, что у Ларьки дрогнул страх в глазах, кажется, он поверил в существование Рая и тому, что путь туда для него перечеркнут.

— Показалось, — ответил Хвостов. — Если и «спужался» Ларька, то не оттого, что ты там себе навывдумывал.

Студент шел молча довольно долго, изредка пинал камешки или головы высохшего бурьяна на обочине. Сорняк осыпался сухим живучим цветом, падал на землю, вгрызался в неприветливый дерн, отвоевывал свое место.

— И вот теперь, Петр, когда я тебе все рассказал, хочу спросить: почему из нас, так называемых товарищей Ларьки, никто не вступился за семью священника, за невинную попадью хотя бы?

Ответ у Хвостова созрел давно:

— У каждого из нас, как и у самого Ларьки, есть в жизни такой «поп», с которым нам не терпится посчитаться.

(Продолжение следует)

